

КАЛЬДЕРА РОССИЯ

Кальдеру я впервые увидел ночью, поздней осенью 1990 года. Где-то в душе лопнул предохранитель, и меня вышвырнуло в сознание эмоциональным взрывом. Это был один из тех снов, что в момент пробуждения выпархивают из рук жар-птицей, не обронив и огненного пера. Остается лишь слепок, посмертная маска собственного лица, обращенного внутрь, к ночному измерению бытия. "Я умер — я проснулся".

Прошло несколько лет, покуда в сознании проступили контуры смысла. Осколки сна, посланца небесных глубин, метеоритными брызгами впиваются в душу, застревают в ней, обволакиваются ею, затягиваются в тектонические разломы, переплавляются в ее магме — становятся *своим*. Сон и жизнь на равных оставляют отметину душевной оспы: кратер вулкана неотличим от метеоритной воронки.

А тогда этот сон связался у меня с письмами Устрялова.

КАЛЬДЕРА ПЕРВАЯ

...В стране иррационального вихря, которую не обнять умом и не измерить логикой, им вдруг не нашлось места, — им, лучшим ее сынам!.. Горький, мучительно трагический удел...

Н. Устрялов

В январе 1990 г. от Лакшина, ныне покойного, мне передали стопку писем Н.В. Устрялова. Собственно, это были машинописные копии шестидесяти неопубликованных писем к европейскому адресату, отправленных в 1930-35 годах из Харбина.

Так в мою жизнь впервые вошел этот человек. Ведь событие значит: *со-бытие* — бытие, бывшее раздельным и становящееся отныне совместным.

Из писем Н.В.Устрялова Г.Н. Дикому из Харбина

№ 2

12 сентября 1930 г.

В "Большевике" (№10) — большая рецензия на мою последнюю книжку. Много цитат, помет типа "класс. враг", но, в общем, сносно (соответств. отмечена 7 глава). Но на съезде Сталин обругал меня "краснобаем и кривлякой", а восходящее светило Киров поставил мою фамилию рядом с проф. Платоновым, тоже одобряющим правый уклон. Этим соседством я мог бы гордиться — еще с гимназических лет увлечен работами Платонова, — но надлежит все же помнить, что в настоящее время Платонов сидит в Ленинградской тюрьме. Словом, сложно, очень сложно...

№ 3

30 октября 1930 г.

Мне особенно хочется подробно установить, что из нашей позиции абсолютно не вытекает "вредительство" — совершенно напротив. В советской прессе последнего времени идет тяжеловесная идеологическая кампания, вскрывающая внутреннюю необходимую связь между "вредительством" Кондратьева-Громана-Юровского и их теоретическими работами.

[...]

В №7 журнала "Проблемы экономики" напечатана обстоятельная статья Белого "Кто кого", посвященная в значительной части устряловщине. Сам Устрялов именуется "нашим злейшим классовым врагом". Конечно, к нему, в качестве бессознательного пособника, пристегнут Бухарин. В "Правде" Радек ярко пишет о Кондратьеве-Громане. Ярко и ... гадко. Жутко!

№ 4

1 февраля 1931 г.

Протест против террора! Что это за лозунг? Конечно, террор отвратителен, но "протест" против него в современных условиях и в наших устах будет походить на жалкий писк давимой мыши. Нашего брата истребляют — это грустно, но если мы хотим и можем высказываться, то говорить надо о другом.

Прошло время, когда можно и нужно было пытаться публицистикой оказать непосредственное воздействие на ход событий. Все слова такого типа, в сущности сказаны. Но остаются большие анализы, [...] в коих русская революция должна обрести свое место и свой положительный смысл. Они [...] по природе своей должны быть проникнуты философско-историческим спокойствием. И, что особенно любопытно, тогда они, быть может, даже будут в состоянии сыграть и какую-либо "практическую" роль — так сказать, рикошетом.

События в России огромны по своим масштабам. Их огромность только теперь начинает вырисовываться в действительных своих очертаниях. Я не могу согласиться с Вами насчет "безумств" etc [...] Т.е., конечно, "безумства" и преступления есть, но они глубоко имманентны громадному историческому процессу, развертывающемуся в стране.*

Подлинное событие, подобно сну — вне настоящего. Случайно происшедшее (или приснившееся) погружается в память, в ее глубинные, неповоротливые слои. Там идет своя сосредоточенная работа, беззвучная точечная сварка. И однажды происшествие соединяется с музыкой, случай — с мыслью, взгляд — с ветром, образуя каркас *события*. Может быть, сама судьба зависит от того, успеем ли мы прежде смерти понять событийный смысл мимолетной встречи или впечатления раннего детства. Отсюда — магическая власть воспоминания, возвращения. Должно быть, и ветер возвращается на круги своя, чтобы припомнить что-то важное, случившееся с Екклесиастом.

Лишь теперь, задним числом я стал понимать, что же так поразило тогда в этих письмах. Это было не содержание, но и не стиль, — нет, и то, и другое порознь было знакомо по другим текстам, — но немыслимое совмещение того и другого в едином культурном пространстве. Человек, писавший их, явно принадлежал к героям мифа о "России, которую мы потеряли" и по своему духовному уровню стоял, вне сомнений, наравне с выдающимися фигурами русского "серебряного века". К началу 20-х этот человеческий тип, и без того немногочисленный, был стерт с 1/6 лица Земли. Тех, кто не превратился в дым революционного огня и не эмигрировал подобру-поздорову, поджидали философские пароходы, плывшие за рубеж, а чуть позже — в Соловки. Благодаря ручейку запретного "тамиздата" (с началом перестройки превратившегося в поток) было известно, что отдельные их призраки за железным занавесом продолжали незримо сосуществовать с советским народом в едином физическом (но не культурно-историческом!) времени и даже кое-что пописывать о России. Но это были либо мемуары, либо антисоветские памфлеты, либо — как у Бердяева — взгляд с заоблачно-философских или метаисторических высот.

К четвертому году от рождества Гласности жанр-ритуал присвоения советского гражданства подобным текстам уже прочно установился. Сначала — пространное введение популярного публициста NN, где раздумья о судьбах интеллигенции (на примере себя и реабилитируемого автора) подаются с гарниром историософского ликбеза и под соусом из розовых соплей. Затем — куца выборка текстов, с ошибками и без ссылок перепечатанных из брошюр YMCA-PRESS. И наконец — справочный материал, содержащий годы жизни (неверные), названия дореволюционных изданий (перевранные), расшифровку слов "кадет" и "трансцендентный" и коэффициент пересчета пудов и аршинов в килограммо-метры.

Устрялов, — человек из Атлантиды, ученик и собеседник Трубецкого, Вышеславцева, Бердяева, — белоэмигрант, служащий на КВЖД, — наблюдал и переживал *изнутри* большевистскую реальность 30-х, которая мною, вполне советским человеком 1990-го года,

* Оригиналы писем ныне переданы в РГАЛИ.

воспринималась почти как своя! Он смотрел на сталинскую империю глазами, которые та почитала окончательно выколотыми.

Над православной Русью сомкнулись исторические воды, а на ее месте из глубины шлаковым вулканическим грибом выпучилась безбожная "империя зла". Порвалась связь времен! Но в нем, в Устрялове, раздирающая сила двух эпох, двух расходящихся тектонических плит никак не могла преодолеть звонкого натяжения ниточки-жизни.

№ 8

6 апреля 1931 г.

Дорогой Григорий Никифорович.

В дополнение к письму, на днях отправленному прямым путем, пишу окольно, через Канаду.

Политически приходится жить какою-то "двойной жизнью". С одной стороны, ежедневная живая информация об ужасах и жутких бессмыслицах советской действительности; с другой — вести по части достижений. Сегодня беседуешь с бежавшим из Владивостока спецом и буквально содрогаешься от его рассказов; завтра в беседе с коммунистом черпаешь надежду на конечную удачу страшного передела, преобразования страны. Так и живешь между ура и караул... А сам — помалкиваешь *par excellence*.

Истребление интеллигенции представляется мне — ошибкой, пусть исторически объяснимой, роковой. [...] Власть своими террористическими перегибами затрудняет выполнение собственной экономической программы; это легко доказать.

Впечатление жестокой идейной деградации производят советские журналы (юридические, философские, да и общеполитические), еще недавно изобиловавшие сплошь и рядом содержательнейшими материалами. Ныне партийная интеллигенция разгромлена за уклоны, прет какая-то серая, полуграмотная публика. Кто из старых остался, тому приходится нудно и жалко каяться. Есть такие, что каются трижды, дезавуируя предыдущее покаяние. Не знаю, что это: зрелище для богов, или адская скука...

[...]

Эти милые люди все тянут из меня откровенные признания и недовольны сухостью моих ответов. При случае, разъясните, что иначе же нельзя!.. Они наивны во всем, хотя, по-видимому, вполне симпатичны. В последнем письме я отметил, что лишь в личном свидании можно разъяснить неясности...

Приходится подчас вплотную соприкасаться с новым человеческим материалом, репрезентативным типом современного периода нашей революции. Наблюдаешь этот материал в конкретной работе. И всякий раз впадаешь в озадаченное раздумье: мыслимы ли, возможны ли действительные успехи, подлинная победа с таким личным составом, с таким руководством? Разум мрачно бубнит: немислимы, невозможны.

[...]

Вы правы насчет "страшных микробов мозговой чумы", витающих в нашей стране. И, конечно, я отнюдь не зарекаюсь [...] на будущее и от "активных откликов". Стараюсь нащупать их тональность... и пока не выходит, вернее, тактическое чутье подсказывает воздержание от попыток непосредственного воздействия на процесс.

№ 9

1 мая 1931 г.

...Даже генеральная жуткая трагедия нашего слоя, наличность которой я менее всего склонен отрицать, не должна лишать нас ясного зрения и надлежащей объективности. Дело не в том, что мы гибнем и погибнем, а в том, что из этого всего получится. Я совсем не считаю нашу трагедию положительным явлением, но события столь грандиозны, что не она стоит в их центре и не ею должны определяться наши общие оценки.

Поверьте, [...] исходные, последние точки мирозерцания, наверное, останутся при мне уже до смерти, и они достаточно гарантируют специфическую мою изолированность.

Но чем пристальнее всматриваешься в окружающее, тем настойчивее диктуется сочувственное внимание к огромному и страшному процессу, творящемуся перед нами. И мучительно ищешь критериев, методов познания и слов, способных адекватно выразить смысл и сущность этого процесса. Это выражение должно быть бескорыстным и в самом высшем смысле слова. Оно должно быть выше индивидуальных и групповых страданий, выпавших на нашу долю. Оно должно быть вне и выше каких-либо не только личных, но и словесных, интеллигентских упований.

№ 19

12 января 1932 г.

Так вот и живем — на вулкане, парадоксально напоминающем болото.

...Неведомое существо смотрело на Землю сквозь мои спящие глазницы с космической высоты. Евразия беззвучно наплывала с головокружительным креном, словно существо клонило голову набок. Точнее, не было ни существа, ни головы, ни глаз, — был лишь взгляд как таковой: не изучающий, не следящий, не осуждающий, не отчужденный, не властный — никакой. Он все вбирал в себя, как безукоризненная оптика орбитального телескопа. Он был глубже пространства, в которое глядел. И этот взгляд понимал, сострадал и любил.

Земля была обращена ко взгляду ночной стороной. Лишь часть континента, очертаниями повторявшая контурную карту России-СССР, вспухала темно-багровым нарывом. Неслышный, был осязаем грозный подземный гул. Сквозь трещины коры просверкивала молниями кипящая лава.

Я не уловил момент взрыва. Видимое изображение не было непрерывным. Казалось, взгляд иногда смаргивал, — и тогда выпадали целые интервалы времени. Или он вообще был дискретным, как картинка, передаваемая первым луноходом. Или взрыв произошел быстрее света — а значит, не был физическим? — и вспышка от взрыва успела осветить лишь то, что происходило мгновение спустя.

Будто апокалипсический консервный нож выворотил из тела планеты то, что было Россией — ее почвой, дерном, культурным слоем — и разметал клочья окрест. Под содранной кожей обнажился котлован с огненными пузырями на дне. Края его стали оседать, проваливаться, — и сквозь проломы внутрь и вниз хлынули холодные воды Северного, Восточного и Западного океанов. На какое-то время котел заволокло облаками пара. Когда же они рассеялись — внизу простиралась унылая равнина, покрытая докипающим, стынувшим болотом вулканической грязи с мертвыми островами пемзы и пепла. А вокруг, словно по периметру костра, в котором разорвалась граната, — тлели и вспыхивали угольки, частицы еще живого тела. В Европе: Германии и Франции, Чехии, Болгарии, на Балканах... На севере и юге далекой Америки... В Австралии... И в Маньчжурии.

Постановление

о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам

18 августа 1988 г.

г.Москва

Ст. военный прокурор отдела ГВП подполковник юстиции Панкратов, рассмотрев материалы уголовного дела Н-11488 в отношении Устрялова Н.В. и заявление гражданки Устряловой Е.И., — установил:

14 сентября 1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР на основании ст.ст. 58-1 "а", 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР осужден к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией имущества Устрялов Николай Васильевич, 1890 года рождения, уроженец г.Ленинграда, русский, беспартийный, профессор экономической географии Московского института инженеров транспорта.

Судом Устрялов признан виновным в том, что "с 1928 года являлся агентом японской разведки и проводил шпионскую работу. В 1935 г. установил контрреволюционную связь с Тухачевским, от которого знал о подготовке террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства и о связи с антисоветской террористической организацией правых. Кроме того, Устрялов вел активную контрреволюционную пропаганду и распространял клевету на руководство ВКП(б)" (из приговора, л.д. 52).

В тот же день приговор в отношении Устрялова Н.В. был приведен в исполнение (л.д. 53).

Изучение материалов дела показало, что следствие проведено неполно, с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

Так, обвинение в шпионаже и иной контрреволюционной деятельности основано только на признательных показаниях Устрялова, которые он дал на предварительном следствии и подтвердил в судебном заседании. Других доказательств в деле не имеется (л.д. 6-31, 32-39, 41-43).

Вместе с тем установлено, Устрялов — русский политический деятель и публицист, с 1917 — года видный деятель партии кадетов, один из идеологов сменовеховства. В 1918-1920 гг. Устрялов являлся председателем Восточного отдела ЦК кадетской партии и "Русского бюро печати".

В 1918 г. в газете Рябушинского "Утро России" (печатный орган московских меньшевиков и эсеров) помещено несколько статей Устрялова, а именно: "У врат мира", в которой он описывает Октябрьскую революцию как "период глубочайшего национального падения, разложения, когда потрясены основы государственного бытия и ядом злой отравы отравлены корни народного самосознания", "У перевала", в

которой говорится о "мучениях, переживаемых Россией и грядущей расправе над большевиками"; "Расплата", в ней искажается истинный смысл и роль III Интернационала; "Конец большевизма", содержание которой раскрывается заголовком; [...] и т.д.

С 1918 г. Устрялов — директор пресс-бюро при "Российском правительстве" Колчака. После разгрома колчаковщины эмигрировал и проживал до 1935 г. в Харбине, где являлся профессором университета, а с 1928 г. — одновременно и директор Центральной библиотеки КВЖД.

В 1935 г. вместе с другими служащими КВЖД Устрялов с семьей возвратился в СССР.

В Большой Советской энциклопедии (третье издание, 1977 г., том 27, стр. 133), в частности, указано, что Устрялов Н.В. (псевдоним — П.Сурмин) в 1920 г. выдвинул программу так называемой смены вех. Он рассчитывал на буржуазное перерождение советского строя...

В политическом отчете ЦК РКП(б) XI съезду 27 марта 1922 года В.И. Ленин назвал Устрялова откровенным классовым врагом. В этом отчете В.И. Ленин, давая характеристику НЭПу и отношения к ней идеологов сменовеховства, указал, что "...некоторые из "сменовеховцев" прикидываются коммунистами, но есть люди более прямые, в том числе Устрялов. Кажется он был министром при Колчаке." [...] (Ленин В.И., соч. т. 33, издание 4, стр. 256-258).

В связи с ходатайствами жены Устрялова о реабилитации, по делу в 1955-1956 годах проводилась проверка, которая однако не была завершена, а заявителю сообщено об отсутствии оснований к постановке вопроса об опротестовании приговора (л.д. 53-95).

Так, не было проверено агентурное дело, на основании материалов которого был арестован Устрялов (83-86, 61).

Не завершена проверка деятельности Устрялова в период нахождения его на службе в "Российском правительстве Колчака" (л.д. 63-67). [...] Кроме того, не выяснено, действительно ли существовала в г. Харбине школа по подготовке японских разведчиков, в которой Устрялов мог читать курс лекций и т.д. При таких обстоятельствах, по имеющимся в деле материалам сделать вывод об обоснованности осуждения Устрялова не представляется возможным.

На основании изложенного и руководствуясь п.4 ст.384, ч.2 ст.386 УПК РСФСР, —

Постановил:

1. *Возбудить производство по вновь открывшимся обстоятельствам по уголовному делу Н-11488 в отношении Устрялова Н.В.*

[...]

Ст. военный прокурор отдела ГВП
подполковник юстиции В. Панкратов¹

В годы расцвета афинской демократии мудрец и государственный деятель Солон посетил с дружественным визитом Египет. В ходе встречи со жрецами-историками города Саис он поделился с ними сведениями из официального "Краткого курса истории Афин"...

"И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: "Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!" "Почему ты так говоришь?" — спросил Солон. Все вы юны умом, — ответил тот, — ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. Уже были и еще будут многократные и различные случаи гибели людей, и притом самые страшные — из-за огня и воды, а другие, менее значительные, — из-за тысяч других бедствий. [...] Сохраняющиеся у нас предания древнее всех... [...] Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах; между тем у вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых. И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей стране или у вас самих. Взять хотя бы те ваши родословные, Солон, которые ты только что излагал, ведь они почти ничем не отличаются от детских сказок. Так, вы храните память только об одном потопе, а ведь их было много до этого; более того, вы даже не знаете, что прекраснейший и благороднейший род людей жил некогда в вашей стране. (Платон. "Тимей")

[Из справки на бланке Центрального государственного исторического архива г.Москвы:]

¹ Фамилия по этическим соображениям изменена.

На Ваш запрос сообщаем, что в фонде Московского университета хранится личное дело Устрялова Николая Васильевича (ф.418, оп.322 д.1843). Из документов дела следует, что Н.В.Устрялов родился в С.-Петербурге 25 декабря 1890 года (л.13). 28 мая 1908 года он по определению Калужского дворянского депутатского собрания был "сопричислен к роду дворян Устряловых и записан в третью часть дворянской родословной книги по Калужской губ". (л.12).

В 1901 году Н.В. Устрялов поступил в Калужскую Николаевскую гимназию (л.4). [...] Окончив с серебряной медалью гимназию Н.В. Устрялов в 1908 году поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил с дипломом I степени в 1913 году (л.1).

В этом же фонде имеется дипломное сочинение Н.В.Устрялова "Теория права как этического минимума в исторических ее выражениях" (ф.418, оп.513, д.8907).

[Из рукописи:

**В Юридический Факультет Пермского Государственного Университета
и.д. орд. проф. А.Н. Круглевского и и.д. экстр. проф. В.Н.Дурденевского
Представление об ученых трудах прив.-доц. Н.В. Устрялова]**

[...] Две другие более крупные работы пр.-доц. Устрялова посвящены идеологии славянофильства — национальной и государственной. Доклад "Национальная проблема у первых славянофилов", прочитанный 25 марта 1916 года в Московском Религиозно-Философском Обществе и напечатанный в "Русской Мысли", 1916, кн.Х, содержит блестящий анализ трех основных линий данной проблемы в учениях Киреевского и Хомякова. [...] Продолжением последнего была [...] статья "Идея самодержавия у славянофилов", принятая к напечатанию "Русской Мыслью", но с прекращением журнала не появившаяся.

[Из рукописи: Curriculum Vitae преподавателя Харбинских высших экономико-юридических курсов Н.В. Устрялова (Копия с копии)]

В 1908 году окончил с серебряной медалью Калужскую гимназию и поступил на Юридический Факультет Московского университета, который окончил в 1913 году и был при нем оставлен профессором Вышеславцевым по рекомендации проф. кн.Трубецкого по кафедре энциклопедии и истории и философии права.

Весною и летом 1914 года сдал магистерские экзамены по истории и философии права и по государственному праву при Московском университете. Весною 1916 года сдал при том же университете магистерский экзамен по международному праву, а осенью прочел пробные лекции на темы "Идея государства у Платона" и "Теория самодержавия у славянофилов". [...]

В учебном 1917-1918 году читал в Московском университете курс по истории русской политической мысли.

Осенью 1918 года перешел в Пермский университет. [...]

После взятия Перми войсками Омского Правительства был откомандирован в Омск на должность Юрисконсульта Совета Министров. Затем занимал должность Директора Пресс-Бюро, после чего покинул правительственную службу, перейдя в Русское Бюро Печати, вместе с которым перед падением Омска эвакуировался в Иркутск, где стоял во главе Бюро до самого падения правительства. [...]

Верно:

Делопроизводитель Юридического факультета в г.Харбине В. Горохов.

Из воспоминаний Елизаветы Рачинской "Калейдоскоп жизни".²

В 1920 году по линии КВЖД от ст. Маньчжурия на северной границе Маньчжурии и Забайкалья следовали почти непрерывно на юг эшелоны с уезжающими чехами и словаками, японские воинские части и беженцы.

Остатки армии адмирала Колчака заканчивали свой "ледяной поход". [...] А русские беженцы видели для себя, прежде всего, возможность остановиться в Харбине, где они могли передохнуть, осмотреться и решить проблему своего будущего.

С этой волной в Харбин прибыла группа молодых доцентов российских университетов. Среди них были Георгий Константинович Гинс и Николай Васильевич Устрялов. Как вспоминает Г. К.Гинс, последний был настроен панически, даже "упал в обморок" от волнения и заявлял во всеуслышание, что надо было ехать на Запад, а не на Восток...

[...]

"Спустя некоторое время, — продолжает Г.К. Гинс³, тот же профессор, будущий сменовеховец, посетил меня для переговоров о совместном с ним открытии высшего учебного заведения. Выяснилось, что

² YMCA-PRESS, Paris, 1990, стр. 174-178.

³ "Новое русское слово", NY, 19.11.1960

кроме нас с ним в Харбин прибыло еще несколько человек преподавателей высших учебных заведений и что среди местных жителей есть также подходящие сотрудники. [...]

И вот...

"Первого марта 1920 г. в помещении Харбинского Коммерческого училища состоялось открытие и были прочитаны вступительные лекции на Экономико-юридических курсах. [...]

Спустя год или два "Курсы" были переименованы в Юридический факультет с экономическим отделением. Позднее прибавилось восточно-экономическое. [...] Факультет одно время стал похож на маленький университет. Профессора выступали с публичными лекциями, устраивали диспуты, привлекавшие множество посетителей. Факультет стал издавать свои "Известия": вышло двенадцать томов. [...] Около трехсот молодых людей получили высшее образование и сдали выпускные экзамены.

Первого марта 1920 года [...] начался тот период эмигрантской жизни для многих покинувших родину, который живет в памяти как светлое воспоминание. В эмиграции удалось осуществить культурное начинание крупного значения".

[...]

Первая лекция (вступительная), которую мне пришлось прослушать на Факультете, была прочитана профессором общей теории и философии права Николаем Васильевичем Устряловым. Довольно высокий, одетый с изящной небрежностью, с небольшой эспаньолкой, придававшей ему нечто мефистофельское, Устрялов сразу овладел вниманием аудитории. Он читал с блеском, легко и непринужденно развивая тему, щеголяя цитатами, сам увлекаясь и увлекая слушателей.

[...]

Устрялов говорил о том, что человечество переживает кризис, подобный кризису античной культуры...

"Видны сумерки формальной демократии. Кончается исторический цикл христианской культуры. Происходит перелом исторических путей". Он вслед за Ницше повторял: "Волненьем, смятеньем и тревогой объято современное человечество. В безбрежном огненном море плавают привычные формы жизни и колеблется старая почва..."

Россия усеяла поверхность планеты могилами и целыми кладбищами, где похоронено самое блистательное поколение ее образованного слоя. Те, что остались внутри, в котловане, были истреблены физически и растоптаны нравственно в течение двух-трех десятилетий. Те, кого взрывом разбросало по свету — искалечены духовно и обречены на медленное угасание в роли второсортного "человеческого материала", лишённого корней. Но главное все же не в количестве смертей, а в масштабе *поражения*, общего для обоих враждовавших лагерей этого поколения: как русской интеллигенции, так и российской власти. Впервые в истории такая интеллектуальная и духовная мощь была сконцентрирована на решении вопроса о смысле исторического существования страны и о путях ее сознательного реформирования. И в результате — сокрушительное поражение, катастрофа.

Это — вечный урок для всех, кто берется сегодня и соберется завтра решать российские "проклятые вопросы". О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?

Советские "образованцы", идейно унавожившие почву для перестройки с последующей рыночной демократией, по своему духовному и интеллектуальному уровню соотносятся с предшественниками примерно так же, как подполковник юстиции Панкратов — с посмертно-подзащитным Устряловым. И стоя на бескрайнем развале либеральной и патриотической макулатуры "великого десятилетия" 1984-94 г.г., не хочется спешить с обобщениями о причинах очередного краха очередных российских реформ. Не честнее ли — и не соразмернее ли с собственными силами — взглянуть в единый человеческий атом этого Великого отечественного поражения, Бородина 1917 года, которое вытолкнуло-таки патриархальную Москву на космическую орбиту мировой сверхдержавы?

Тем более что начатое было по этому поводу "производство по вновь открывшимся обстоятельствам" безнадежно увязло в банальностях. Архивы открылись. Заполнились искателями "клубнички". И — опустели страшной пустотой. Вновь под их сводами в ненарушаемой тишине мертвые России исповедуются, спорят, вызывают к живым.

Из "Дневника колчаковца"⁴

1919 год.

Омск, 9 февраля

⁴ Н.В.Устрялов. Белый Омск. Дневник колчаковца. "Русское прошлое", альманах, 1991, Т. 2. СПб, издание советско-американского СП "Свелен", стр. 283-338.

Вот уже завтра неделя как приехали в Омск. [...]

Общее политическое положение смутно, тревожно, неустойчиво. [...] Жизнь все время, как на вулкане. Мало у кого есть надежда победить большевиков. Сам по себе Омск занят, особенно по населению. Сплошь типично столичные физиономии, столичное оживление. На каждом шагу — или бывшие люди царских времен, или падучие знаменитости революционной эпохи. И грустно становится, когда смотришь на них, заброшенных злою судьбой в это сибирское захолустье: нет, увы, это не новая Россия, это не будущее. Это — отживший, старый мир, и не ему торжествовать победу. Грустно.

Понимаешь, сознаешь, ощущаешь все это, — и все же не оторвешься от круга уходящей жизни, ибо в ней — корни и души, и тела... С ней умереть, с ней уйти... [...] Но во всяком случае, — *ave vita nova, morituri te salutant...*

(11 ч. 15 м.д.)

Омск, 7-8 марта

Что-то будет? Весна приближается, а вместе с нею разгадка. Последний, решительный бой.

Большевики, видимо, держатся крепко. Молодцы! Говорят, Украина уже окончательно ими очищена и близится решительная схватка с Деникиным. Последний секретно сообщает, что положение серьезно.

[...]

Vive la Russie revolutionnaire! Пусть мы боремся с нею, — не признавать ее величия было бы близоруко и... непатриотично. Мы должны "до полной победы" продолжать нашу борьбу с большевизмом, но мы обязаны воздать ему должное. [...]

Хочется верить, — настанет пора, когда, истребив и похоронивши большевиков, мы со спокойною совестью бросим на их могилы иммортели... (Ночь).

Омск, 8-9 марта

У большевиков более многочисленная и более совершенная (!) армия, чем у нас. Разве вот если будет измена или наш случайный успех нанесет им моральный удар... Последние вести благоприятны — взяты Оханск и Оса, и на Бирском направлении на нашу сторону перешли три красных полка. Но никаких расчетов на такие единичные успехи строить не приходится. Войска наши посредственные, офицеров совсем мало, мобилизация проводится ставкой бессистемно и бессмысленно.

Говорят, что у большевиков много офицеров и даже офицеров Генерального штаба, которые, впрочем, иногда "играют в поддавки". Так, недавняя кунгурская операция была ими задумана таким образом, что наши могли отрезать большую часть их наступавшей колонны. Но не сумели, и так и не взяли отдававшиеся шашки...

Омск, 10 мая.

Заботы, хлопоты без конца. Организовалось, наконец, "русское общественное бюро печати"... "но радости нет"! Дело не подвигается ни на шаг вперед, — напротив... Нет помещения, нет людей, которые взялись бы уладить хозяйственную сторону организации, уже начинаются взаимные пререкания, — и только без толку сыплются новые тысячи и миллионы... [...]

Говорят, провинциальные кадеты точат зубы на центральный Комитет. — Вообще словно каждый здесь точит зубы на всех и все на каждого. Так делается национальное дело.

Омск, 14 мая.

Плохие вести со всех сторон. На фронте идет наступление большевиков, пока очень успешное. Сданы им Бугуруслан, Сергиевск, Чистополь и уже, по-видимому, Бугульма.

Плохо и в сфере нашего предприятия. Идет травля против него и справа, и слева. [...] Любопытно, что ген. Марковский будто бы уверен, что предприятие попало в руки... эсеровской компании (!!), в то время как эсерствующие газеты видят в его создании попытку "кадетизации общественного мнения"... [...] Если погибнем — значит, достойны гибели. (11 ч. вечера).

Омск, 26 мая

Самые последние вести — ничего. Юденич непосредственно угрожает Петербургу, Деникин идет на Царицын, наши оправляются... [...] Большевики — как затравленные звери, умирают, но не сдаются. Честь им и слава! [...] Во всяком случае, жить все интереснее и интереснее становится. И за Россию все спокойнее. Откровенно говоря, ее будущее обеспечено — вне зависимости от того, кто победит — Колчак или Ленин... (6 ч. 50 м. вечера).

Омск, 20 июля

Сейчас вместе с делегацией омского "блока" был у Верховного Правителя — в домике у Иртыша. Длинная беседа на злобы дня. Хорошее и сильное впечатление. Чувствуется ум, честность, добрая воля. Говорил очень искренно, откровенно. Об "отсутствии порядочных людей", "о трудном положении армии ("развал")", о союзниках. "Мое мнение — они не заинтересованы в создании сильной России... Она им не нужна"... [...] Об отвратительных злоупотреблениях агентов власти на фронте и в тылу. "Худшие

враги правительства — его собственные агенты". То же и у Деникина, то же и у большевиков — "это общее явление, нет людей"... [...] (5 ч. дня).

"Диктатор"... Я всматривался в него вчера, вслушивался в каждое его слово... Трезвый, нервный ум, чуткий, усложненный. Благодетельство, величайшая простота, отсутствие всякой позы, фразы, аффектированности. [...] Видимо, лозунг "цель оправдывает средства" ему слишком чужд, органически неприемлем, хотя умом, быть может, он и сознает все его значение. В этом отношении величайший человек современности (тоже, к гордости нашей, русский) Ленин — является ему живым и разительным контрастом.

Конечно, трудно судить современникам. Исторических людей создают не только их собственные характеры, но и окружающие обстоятельства. Но я боюсь — слишком честен, слишком тонок, слишком "хрупок" адмирал Колчак для "героя" истории... (8 ч. вечера)

Омск, 25 июля

Все более и более заманчиво представляется Москва, хотя бы даже и большевистская. С тоскливою, но сладкою грустью вспоминаются ее улицы, дома, былые дни жизни в ней, и тянет туда, тянет все чаще и все сильнее. И Калуга представляется, милая, родная... Доведется ли вас увидеть, славные, любимые?... (7 ч. 10 м. вечера).

Омск, 7 сентября

А ветер гуляет. У нас все еще продолжается бой за Омск. На южной линии, у Сахарова, лучше, на северной, у Пепеляева, напряженно, — ни в ту, ни в другую сторону. У Деникина, видимо, средне — вот-вот возьмут Царицын. Тошно. На радость всего мира Россия добивает себя, истощает.

Омск, 29 сентября.

...Тревожно — по всем направлениям, по всем этажам души... [...] Живешь ведь прямо на вулкане...

Омск, 29 октября.

Объявлена "разгрузка" — то есть эвакуация — Омска. На фронте плохо, "катастрофично". Падение Омска, очевидно, неминуемо. Армия обойдена с севера, с юга, быстро отступает. Совет Министров переезжает в Иркутск.

Что делать? Сегодня начинается паника. Вагона не дадут. Идти пешком?... Холодно. Далеко ли дойдешь?... Последние дни в уюте, в тепле. Дров купили на днях, вставили рамы... Запаслись сахарком. Боже, опять горе, и на этот раз — призрак полного тупика, смерти... Спасся в Москве, в Калуге, в Перми — едва ли еще раз пройдет безнаказанно искушение судьбы. (8 ч. 45 м. утра)

Иркутск, 4 января.

Тяжело на душе. Окончательно рушится привычная идеология, отвергнутая, разбитая жизнью. [...]

И острый личный вопрос: что же делать, если сегодня окончательно завершится капитуляция правительства? Допустим, что можно будет уехать на Восток. [...] Но зачем ехать? Служить делу, в которое не веришь, которое считаешь вредным, уже безвозвратно проигранным? [...]

Остаться здесь? Но это значит, порвать с кругом не только привычных идей и представлений, но и с кругом близко духовно лиц; с привычною средой, которую уважал и даже, быть может, любил. Перейти в круг людей чуждых, не доверяющих, вероятно презирающих: "когда наша взяла, перешел к нам"... быть ренегатом в глазах друзей и врагов... Тяжко.

Уйти от политики? В книги? В науку? На востоке это невозможно, не позволит среда. Здесь? Тоже, пожалуй, невозможно: вряд ли здешний университет (эсеры) согласится пригласить, да и грядущие большевики не потерпят: председатель кадетского Центрального Восточного Комитета!

Что же делать? Опять распутье — и какое! Пойдешь налево — потеряешь одну половину души, направо — другую... Или, быть может, сегодня в 12 ч. вновь заговорят пулеметы и пушки, и судьба сама навяжет выход?...

КАЛЬДЕРА ВТОРАЯ

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

...
Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг!

В. Набоков. Берлин, 1927

Из писем Н.В. Устрялова Г.Н. Дикому из Харбина

№54

16 февраля 1935 г.

Посылаю Вам копию письма Т.-Ш. Надеюсь, согласитесь с изложенными в нем соображениями.

[Копия:]

Многоуважаемый Юрий Алексеевич!

Мне кажется, прежде всего, что журнал дает неправильную оценку сменовеховской идеологии. Быть может, внешняя, историческая судьба сменовеховства располагает, даже подстрекает к отмежеванию от него. [...] Неверно, что смена вех была односторонней и немой Каноссой. Когда я писал в начале 1922 года, что "наш путь в Каноссу укорачивается благодаря встречному движению самой Каноссы", я формулировал центральный тезис смены вех.

Сменовеховцы "бесследно" растворили себя в атмосфере родной страны. Но кто знает, — быть может, в нынешней мажорной национализации Октября [...] своеобразно претворен и наш идейный импульс, химически всосавшийся в тело и душу революции! Ошибаясь во многом, мы в главном не ошиблись; теперь это ясно как день.

[...]

Журнал упорно противопоставляет "великий русский народ" советскому госкапитализму, "бездушной и тупой коммунистической всеильной бюрократии". Мне кажется, не следует злоупотреблять этим противопоставлением. Великая стройка наших дней есть, несомненно, дело великого русского народа, но — народа, организованного и направленного ведущим партийным слоем. [...] Да, партия мучила и мучит народ, но без этих мук, разумеется, не было бы и материала для пореволюционного пафоса, не было бы ни пятилеток, ни социальной правды, ни национальной силы, которыми он, этот пафос, теперь вдохновляется. [...]

Киреевский некогда говорил о силе, которой "намагнитили" Иверскую икону ("доску") вековые молитвы верующих. Можно сказать, что наш "марксизм" приобретает аналогичную живую силу, поскольку именно под его флагом творится новый мир, возрождается наша страна тяжкими путями страданий, лишений и героизма.

[...]

В этой связи худо, прямо безвкусно звучат крепкие слова И.Ильинской по адресу возвращенцев [...] Тут полное непонимание сложного воздуха революции и ... ущерб любви к реальной, настоящей, а не фантастической родине.

Во времена "зрелого застоя" в обиходной русской речи укоренилось слово "невозвращенец". Чаще всего так именовался советский гражданин, который, выехав за рубеж в составе официальной делегации или туристической группы, ускользал от внимания бдительных коллег и обращался к тамошним властям с просьбой о политическом убежище. К началу восьмидесятых невозвращенчество приобрело массовый характер, а эмоциональный оттенок этого слова для слуха части интеллигенции эволюционировал от опасливого полупрезрения к уважительной полузависти-полувосхищению хитростью и отвагой беглеца. Адекватный перевод слова на английский язык отсутствует. Оксфордский русско-английский словарь переводит его как "defector", что в обратном переводе означает прежде всего "дезертир", "отступник", — не то! Очевидно, дело здесь не в семантике, а в различии исторического опыта народов.

Однако, перелистав фундаментальный "Сводный словарь современной русской лексики", я не нашел в нем даже следов другого русского слова — "возвращенец". А ведь за ним стоит гораздо более значимое (да и более массовое) явление русской жизни. Политическими возвращенцами называли белоэмигрантов из образованных слоев общества, которые приняли сознательное решение вернуться в Советскую Россию. Идейным знаменем возвращенчества стал знаменитый сборник "Смена вех".

Среди "сменовеховцев" можно — с известной долей условности — выделить свои полюса: "наканунцев" и "евразийцев". Наканунцы вернулись раньше всех, однако, не желая рисковать,

предварили свое возвращение столь бурным покаянием, столь пламенным изъявлением советской лояльности, что это не могло не повредить сменовеховским принципам. Евразийцы принципами поступались значительно меньше, были независимее в своих оценках и суждениях, но и на родину не спешили. Правда, конец и у тех, и у других часто был один. Немногие накануне умерли своей смертью; некоторые евразийцы вернулись в Россию не по своей воле.

Главным возвращенцем считается Устрялов. Хотя его собственный путь домой оказался одним из самых длинных.

Из "Дневника колчаковца"

Иркутск, 10 января

[...] Помню, как-то в беседе с Ключниковым перед его отъездом обсуждали эту проблему. Он еще говорил — "ну, если увидим, что ошибались — придет время и встретимся с большевиками"... Он, быть может, прав, я соглашался. Теперь вот осуществилось...

Уехать на Восток, оттуда кругом — на юг России, оттуда — в Москву! Вот бы счастье, даже не верится... А потом — да здравствует Советская Россия! (12 ч.д.)

Из интервью, опубликованного в "Вестнике Маньчжурии" 1 февраля 1920 г.

Выясняется с беспощадной несомненностью, что путь вооруженной борьбы против революции — бесплодный, неудавшийся путь. Жизнь отвергла его. [...] Тем обязательнее заявить это для меня, что я активно прошел его до конца со всею верой, со всею убежденностью в его спасительности для родной страны.

[...]

Разумеется, все это отнюдь не означает безусловного приятия большевизма и полного примирения с ним. [...] Его не удалось победить силою оружия в гражданской борьбе — он будет эволюционно изживать себя в атмосфере гражданского мира. [...] Процесс внутреннего органического перерождения советской власти несомненно уже начинается...

Из статьи в газете "Новости жизни". Харбин, 15 сентября 1920 г.

Повторяю еще и еще раз, путь примиренчества — тоже трудный, жертвенный путь, не сулящий каких-либо немедленных чудес. Но он настойчиво требуется теперь интересами страны. Ликвидируя организованную контрреволюцию, он ликвидирует и революцию внутри государства, сведя ее к эволюции. [...] Он один уберезит страну от засилия иностранщины. Наконец, он неизбежно облагородит облик государственной и, главное, административной власти, столь нуждающейся в облагорожении. Пора расстаться с деморализующим революционным лозунгом "чем хуже, тем лучше". Нужно во имя государства теперь идти не на смерть от своих же пуль, как врангелевцы, а, как Брусилов и тысячи офицеров и интеллигентов, — на подвиг сознательной жертвенной работы с властью, во многом нам чуждой, многим нас от себя отталкивающей, богатой недостатками, но единственной, способной в данный момент править страной, взять ее в руки, преодолеть анархизм усталых и взбудораженных революцией масс и, что особенно важно, умеющей быть опасной врагам.

Каждый, для кого жизнь духа — не пустой звук, ощущает человеческое существование как поток, у которого два берега: физическая смерть и смерть духовная. И если потворство прихотям плоти ведет к отмиранию души, то безудержный идеализм — к голодной смерти или чаше цикуты. Обстоятельства времени и места то разводят эти берега пошире, открывая пространство для "частной жизни": ее простых радостей, индивидуальных прихотей и поисков смысла, то грозно сдвигают, ставя перед таким жестким выбором, что берег уже не пугает, а манит отдохновением.

В жизни Устрялова долг и данность, как две каменные плиты, год от года медленно, но неотвратимо сближались, оставляя зазор не толще бритвенного лезвия. То было время, — по словам Тарковского, —

**Когда судьба по следу шла за нами
Как сумасшедший с бритвою в руке.**

"Бегущий по лезвию"... — вздор! Оно вонзилось в него, вошло в душу и плоть. А он — ушел в лезвие как в Зазеркалье. Его судьба — голограмма: не имея толщины, обладает глубиной.

Поверхность — плоская, отливающая серой сталью. Провозгласил возвращение долгом. Знал, что убьют. Вернулся. Расстрелян. "А птицы знали, понимали, что означает каждый

выстрел..." Все это — так. Но под поверхностью угадываются контуры, уходящие в тень. И нужен особый свет, чтобы заглянуть в тайну этой голограммы.

Из писем Н.В.Устрялова Г.Н.Дикоми из Харбина

№ 20

17 января 1932 г.

Вести о жизни на родине — достаточно печальны.

[...]

По существу с идеологией очень слабо. Вашей интеллигентской душе — не разгуляться. В сущности, грустно читать, как, напр., Молотов в речах полемизирует с Каутским, с Бауэром. Это — не полемика, а просто карнавал для галерки с сожжением чучел. Куда девались былые богатые мысли, слова, Бухарины, Троцкие?..

Но, быть может, так и надо? Сейчас время не мыслей и слов, а дел! Неинтересно, что думают и говорят советские новые люди, интересно и важно — что они делают, что у них выходит. [...] Не бетховенскими симфониями, а комаринской и "барыней" бодрятся души солдат на войне. Мудрено ль, что пятилетка строится под идеологическую комаринскую сталинских "аксиом"?!.. Только бы "прошло"!..

№ 21

12 февраля 1932 г.

Наш домишко попал в центр "сражения". Как раз около него стояла китайская батарея, более суток бестолково палившая в пространство. Вокруг него рвались шрапнели и небесные бомбы. Но обошлось счастливо: лишь южная стена его изрешечена извне круглыми картечными пулями, да в детскую залетел, разбив два стекла и исковеркав стул, средней величины осколок. Горячие дни мы провели в гостинице, в полной безопасности.

Налицо один из подлинно драматических конфликтов мировой истории, где бессмысленно искать "правых" и "виноватых". [...]

Наша позиция? — "Не плакать, не смеяться, а понимать".

№ 26

31 августа 1932 г.

Детей в этом году отдаю в местную сов. школу, пусть погружаются в среду, дышат родным воздухом: школа сейчас здесь советизирована до корня. Легче и естественнее будет им переезжать восвоится, — а этот час приближается.

[...] Здешняя информация о родных местах совпадает с Вашей: юдоль скудости и упрямого пафоса стройки. Жизнь трудна, а нашему брату — в особенности.

Но, несомненно, есть и светлые проблески. Заметили ль Вы новую и, в сущности, сенсационную ноту в некоторых официальных выступлениях: внимание к личности и ее запросам? Казарменный стиль утомляет и надоедает. В Красной Нови печатает Пастернак "неактуальные" вещи, и вообще повеяло некоторым поворотом к "душе", — о, конечно, еще робким и неуверенным, но все-таки характерным. Как будто, меньше слышно об антиинтеллигентском терроре, времена 30 года отошли в прошлое... навсегда ли? всерьез ли?

На днях во сне я видел себя в Париже и... плакал от умиления перед "святыми камнями"...

№ 27

4 октября 1932 г.

Читали ли статью Федотова в 4 выпуске Нового Града? [...] Она волнует и возбуждает мысль, влечет к глубинным предпосылкам политического мирозерцания, которые сам я не всегда рискую ворошить: все ли по их части благополучно и сведены ли концы с концами? Мы не были бы "поколением рубежа" если б некие живые конфликты не гнездились в отдаленнейших уголках и складках наших душ.

Поколение рубежа — это те, кто в 17-му году, оперившись, пробовал крылья, кого время ударило влет; кто, выброшенный за рубеж, неудержимо стремился назад, в Россию. Для меня временные границы "поколения рубежа" отмечены символическими фигурами Муравьева — который так и не уехал, и Набокова — который так и не вернулся.

Муравьеву, философу Времени, было 33 года, когда он вместе с Устряловым оказался среди авторов еженедельника "Народоправство", выходившего в промежутке между двумя революциями 1917 года, а затем — в редакции газеты "Утро России", ядро которой составили будущие сменовеховцы. О нем самом говорят как о первом сменовеховце, которому не пришлось стать возвращенцем: Муравьев был единственным среди них, кто с самого начала гражданской войны принял решение остаться в Москве. Это решение не было поколеблено даже в 1920 году, когда он

был осужден, а затем помилован по делу о т.наз. "Тактическом центре" — первому из череды будущих "процессов", затянному чтобы запугать инакомыслящих. Его могли разлучить с Россией только два обстоятельства: смерть или насильственная высылка.

Набоков, которого революция застала восемнадцатилетним, в 19-м году бежал из Крыма в Европу, и в 22-м еще хорохорился: "Мы только смутный цвет миндальный, // мы только первопутный снег, // оттенок тонкий, отзвук дальний, — // но мы пришли в злоеший век. // Навис он, грубый и огромный, // но что нам гром его тревог? // Мы целомудренно бездомны, // и с нами звезды, ветер, Бог." Но уже через два с половиной года он почувствовал, что рана — смертельна:

**Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость — твоя.**

...

**И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.**

Александр Кожевников был младше Набокова всего на два года, но это, кажется, уже "зарубежное" поколение. 18-ти лет он уехал из России "из-за невозможности продолжить образование" и к 1933 году, спустя полжизни (хотя кто знает, что разделило эти даты?) превратился во французского интеллектуала Кожева, не замеченного в порочащих порывах ностальгии и возвращенчества; а спустя еще 17 лет — в общеевропейского чиновника, одного из активных создателей буржуазного Интернационала.

Символом "поколения рубежа" могло бы стать носимое вихрями между небом и землей фантастическое существо из жутковатого, опередившего свой век стихотворения Баратынского "Недоносок".

**Бедный дух! Ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, крутит меня, как пух,
Мчит под небо громовое...**

**Обращусь ли к небесам,
Оглянусь ли на землю —
Грозно, черно тут и там;
Вопль унылый я подыблю.**

Из писем Н.В.Устрялова Г.Н.Дикому из Харбина

№ 32

25 июня 1933 г.

Вы правы: не время оспаривать Федотова. Взяться было за это, да перо тяжелеет в руке. Отчетливо ощущаешь вместе с тем некий несносный жизненный тупик. Подчас положительно завидуешь людям, свободным от этих старомодных душевных конфликтов, — хотелось бы "перестроиться" вплоть до того, чтоб по Есенину, "задрать штаны, бежать за комсомолом"... и тут же констатируешь одышку!

[...] Наше положение таково, что мы не можем себе позволить вторичной смены вех: такие вещи в жизни проходят лишь раз. Повторение тут невозможно, самоубийственно. Да и по существу ни политическая эмиграция, ни политическое невозвращенство — не представляет собою ничего привлекательного. Это не наш путь.

[...] Мы никогда не были сторонниками генеральной линии нынешней мерки, ни в какой степени не ответственны за нее политически, и ничто нам принципиально не препятствует отмечать ее темные стороны. Но [...] нам не нужно сходить с обычного нашего "тонаса", — мотива "приятия" не только "революции", но и выдвинутой ею конкретной власти. [...] А кроме того нам же нечего предъявить, нет у нас в кармане секрета спасения России. [...] И нечего искать средств в этом плане, — они могут найтись лишь в другом: в органических, внутренних силах самой страны...

№ 35

18 октября 1933 г.

Чему я охотно теперь посвятил бы статью — это внешней политике Сов. Союза: уж очень она любезно выполняет наши старые desiderata и идет навстречу нашим прогнозам!

Но — приходится быть немым, как карась. "Выступить" — негде, и абсолютно не по сезону.

Обстановка сейчас здесь, сами понимаете, ультрасуровая. [...]

Правда, мы старые воробьи, и ко многому привыкли. Так часто с разных сторон подкрадывалась опасность и заглядывала в глаза смерть, что уже отучаешься в соответствующих казусах предаваться острой тревоге. Охватывает полусонное безразличие, отвращение усталости: будь, что будет. Досадно, что в такую минуту не чувствуешь себя органически, непосредственно сращенным с родною почвой, с кругом своей среды! [...] К нам доселе применимы старые строки Гиппиус — не в бровь, а в глаз:

Мы томимся — ни там, ни тут,
Дело наше такое — бездомное...
Петухи все поют, поют,
А лицо небес еще темное.

Паршиво. "Порок рождения". В одном из Ваших прежних писем, которое на днях я перечитал, Вы советуете принять меры к переделке себя для действительного, подлинного приобщения к родной среде. Я сам об этом очень часто думаю, — тем более, что, казалось бы, рациональных оснований для отталкивания от этой среды все меньше. И все же, и все же...

Смирись гордый человек! Но тут дело не в этом, во всяком случае, не только в этом. Очевидно, тут нужно не смириться, а "во второй раз родиться", как это бывало с великими мистиками и прочими людьми духовных "обращений".

Петухи все поют, поют, а мы ждем... и что мы можем делать, кроме как ждать? У нас и голоса, вероятно, ночные — чуждые и ушедшему дню, и идущему, если не пришедшему, утру.

Вторая кальдера приняла меня в свой зев в ночь на 22 октября 1993 года. С палубы парома, идущего из Гераклеона в Пирей, мы заметили прожектор маяка, очерчивающий тревожные круги, — словно патрульная машина ГАИ на месте ночной автокатастрофы. Из тьмы Средиземного моря, более теплого, чем Черное в августе, дохнуло холодом. В прочерках прожектора скорее осязаемо, чем зримо проступили контуры зубчатой стены.

Ночной причал, слабо освещенный фонарями, упирался в странную беззвездную мглу. Мы втиснулись в переполненное такси, и оно ринулось по дороге, круто уходящей вверх. Обочин не было. Слева шершаво отсвечивала каменная стена, справа был черный провал в никуда. Затем следовал головокружительный разворот — и стена с бездной менялись местами: справа тяжелый тусклый блеск скалы, слева — черное молоко.

И утром мы сразу ощутили дыхание огромной воронки. После бирюзово-безоблачных дней впервые появились хлопья тумана, ползущие снизу по склонам волна за волной, а на мраморном полу гостиничных галерей стояли холодные лужи.

Мы проснулись, солнце встало, а он спал, — Санторин, самый могучий вулкан Земли. Спал, тихо дыша и изредка — раз в столетие — вздрагивая во сне и стряхивая с каменной шкуры назойливые крошки человеческих жилищ. Он просыпается не часто, одно пробуждение от другого отделяют примерно двадцать тысячелетий. Последний раз это случилось на грани мифологических и исторических времен, за два-три столетия до Троянской войны.

Уже проплыл по Средиземному морю белоснежный бык-Зевс, неся на спине юную Европу. Остров Крит стал им брачным ложем. Уже пять веков правили там потомки их сына, легендарного царя Миноса. Но вновь проснулись в глубинах Тартара титаны и сторукие — отродье Геи. Море колебалось, как чаша, готовая вот-вот расплескаться. Землетрясения и извержения следовали одно за другим. Гроздь вулканических конусов Санторина, слившихся вместе, образовала гору в несколько километров высотой, на глазах выраставшую из воды. И вот однажды главный магматический канал оказался закупоренным пробкой застывшей лавы. Эта окаменевшая надстройка на какое-то время стиснула, сковала подземную стихию вулканического "базиса". Давление магмы и газов нарастало, покуда, — около 1450 г. до н.э., — не произошел чудовищный взрыв. Мощность его была эквивалентна сотням тысяч хиросимских атомных бомб...

Большая часть острова-горы взлетела в воздух. Около семидесяти кубических километров породы превратились в прах и пепел. Траурным покрывалом он лег на зеркало Эгейского моря, черными хлопьями засыпал его острова. Взрыв был слышен на расстоянии двух тысяч километров — во всей Европе, в Центральной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке. Зловещий котел, стены которого обрушились внутрь, изрыгнул такую волну цунами, что в ста милях к югу, у берегов Крита она еще была семидесятиметровой. Все построенное или растущее на плодородных приморских равнинах этого острова на километры вглубь было содрано с лица земли. Могучий

флот крито-минойской державы, пять веков господствовавший над Средиземным морем, перестал существовать. Чуть раньше смертоносная взрывная волна снесла четыре дворца-лабиринта: в Кноссе, Фесте, Малии и Като-Закросе, обратила в развалины и в щепки все дома знати и жилища бедняков, все, кроме подземных городов мертвых. Черный снег укрыл руины, поля и пастбища, — где по щиколотку, а где и по колено, — и наступила тишина...

Восточное побережье Санторина — пологое, плавно поднимающееся от сумрачного черно-серого галечника пляжей Камари и Периссы. Наш "Фиат-Панда" букашкой ползет вверх по склону. Настораживает только шапка тумана над невысокой горой Пророка Илии — откуда бы ему взяться под яростно-безоблачным ультрафиолетом?

Внезапно подъем обрывается. Внизу — трехсотметровый провал, пропасть, край подковообразной разбитой чаши. Впереди, справа и слева, — овал гигантских Лужников, зияющий зловещим проломом и наполовину затопленный, словно для некоей водной феерии... Но никакой цирк на воде не передаст и намек на то действие, что разыгралось здесь.

Солнце, поднимаясь над краем чаши, озаряет островок Аспрониси — одинокий зубец, уцелевший от западной трибуны. Воды — глубинного, густого, чернильно-фиолетового оттенка, нигде не просвечивают зелено-голубоватыми отмелями, не отражают лазурного неба. В середине чаши, километрах в пяти, из воды выглядывает черный бок морского чудища — вулканический островок Неа-Каймени, показавшийся на поверхности через полторы тысячи лет после катастрофы, при жизни философа Сенеки.

Долго, опасливо сползаем вниз по единственной дороге, — той самой, по которой промчал нас ночью отчаянный таксист. Снизу края воронки кажутся совершенно отвесными. И видно, что это — не чаша, а рваная рана с черно-красно-бурым каменным мясом и редкими струпами недавних осыпей и смывов. Лишь на самом верху взреза яркая земная плоть переходит в желтоватый подкожный жир осадочных пород, покрытый двадцатиметровой шкурой вулканической пемзы. И поверх кое-где — странные снежные полосы-шапки. Но это не ледники: едва различимые снизу, плывут облачками в знойном мареве гроздь беленых греческих домов. Люди жили здесь, на вулкане, с незапамятных времен, не подозревая о ближайшем прошлом, о роковых обстоятельствах рождения самого удивительного на свете острова.

Но люди, принадлежавшие к таинственному народу, жили здесь и тридцать пять веков назад, не ведая о своем будущем, отделенные тонкой перегородкой катастрофы от соседей по времени.

Из писем Н.В.Устрялова Г.Н.Дикому из Харбина

№ 37

23 ноября 1933 г.

[...] Мне кажется, следует решительно переключаться с русского национализма на имперский, т.е. неизбежно советский. Тактически это совершенно ясно. Это понимают и евразийцы, говорящие о "евразийском мире народов". Политически "советский национализм" — более ударный и реальный лозунг, нежели "евразийское сознание". Исторический тезис "советской нации" — вполне защитим, хотя привиться ему будет трудно: он принципиально неприемлем для коммунистического и интернационалистского мессианства.

Я считаю весьма достойными сожаления гитлероподобные настроения, явно проступающие в эмигрантской молодежи. [...] По здешним "фашистам" можно видеть, куда способны они завести. Здесь творится нечто положительно неопишное по гнусности и глупости, невежественной темноте и разнузданности. Какая-то вакханалия предательства...

№ 39

31 декабря 1933 г.

[...] Дело, конечно, не в болтуне и ничтожестве В.Ф. Иванове, а в том, что на его лекциях *ex officio* и *in cogroge* сидит местное духовенство во главе с архиереем, что аудитория его набита битком обывателем, что местная "пореволюционная молодежь" (младороссы — фашисты) всецело восторгаются его откровениями и, главное, что этот стиль мысли и слова имеет высоких покровителей, вдохновителей, меценатов */sapienti sat/*. Ни одна из эмигрантских газет не смеет восстать против этой ныне господствующей идеологии, перед которой чайная былого союза русского народа покажется центром изысканного академизма.

№ 41

27 февраля 1934 г.

[...] Я надеюсь, что если даже война произойдет, Советский Союз не выйдет из нее побежденным; повторится славная эпопея якобинской Франции.

Думаю я также, что замирение деревни уже началось, равно как и учеба руководителей промышленности происходит весьма интенсивно. Разумеется, все эти положительные явления не означают устранения многих тяжелых сторон советской жизни, — и прежде всего той миллионной армии рабов (сосланных, лишенцев — рабочий класс №2), которая своими страданиями и своими костями обеспечивает успех многих замечательных строек.

Совсем недавно в руки мне попала (при совершенно мистических обстоятельствах, — как, впрочем, было и с другими материалами об Устрялове) книга М. Агурского "Идеология национал-большевизма", о существовании которой я узнал из мемуаров Рачинской. Добросовестность автора, культура работы с источниками и стремление к объективности — все это не могло не вызвать уважения, особенно, если учесть время и место появления книги на свет. Однако от страницы к странице меня все более охватывало чувство горестного недоумения.

Автор был точен, корректен, без предубеждения относился к своему герою: "Я испытываю чувство глубокого уважения к этому выдающемуся мыслителю за его прозорливость, интеллектуальное мужество, но вместе с тем многие его взгляды внушают мне отвращение, и прежде всего апофеоз тоталитаризма. Устрялов сыграл выдающуюся роль в советской истории...". Более того, он специально подчеркивал, что все, кого судьба сводила с Устряловым, отмечали его высокие человеческие качества...

Все было правильно. И все — мимо. Устрялов "Национал-большевизма" никак не связывался, не совмещался... да просто не имел никакого отношения к Устрялову харбинских писем. Агурский доходчиво объяснил, почему Сталин, высказываясь об "устряловщине", приписывает харбинскому одиночке то, чего он не говорил, и наоборот, старательно обходит главные его тезисы. Но странно, что при этом автор не почувствовал неизбежной "заданности" собственной трактовки фактов и материалов.

Речь вовсе не идет о некоей "объективности", принципиально недостижимой в такой ситуации. Работы подобного жанра всегда строят некую модель, идеальный тип, объяснительную конструкцию, которую задним числом погружают в массив исторических документов с целью их интерпретации. Эта интерпретация поневоле приобретает документально-художественный характер. Но мне, дилетанту, всегда чудился некий грех в том, что героям своих творений мы присваиваем имена реальных людей, которые жили и умерли вовсе не для того, чтобы дать материал для поучительных жизнеописаний. Смыслы жизни и смерти всегда останутся закрытыми для рационального познания, идет ли речь о других людях или о нас самих. И стоя перед фактами новейшей истории, как перед открытой могилой, хочется помолчать, а не слушать речи о том, каким покойный был при жизни.

Надеюсь, из моих заметок не удастся извлечь никакого конкретного "образа Устрялова", тем более претендующего на окончательность. Они — об ином.

Из речи И.В.Сталина на XIV съезде ВКП(б)

Сменовеховство — это идеология новой буржуазии, растущей и мало-помалу смыкающейся с кулаком и со служилой интеллигенцией... По ее мнению, коммунистическая партия должна переродиться, а новая буржуазия должна консолидироваться, причем *незаметно* для нас мы, большевики, оказывается, должны подойти к порогу демократической республики, должны потом перешагнуть этот порог и с помощью какого-нибудь "цезаря", который выдвинется не то из военных, не то из гражданских чинов, мы должны очутиться в положении обычной буржуазной республики. [...]

Устрялов — автор этой идеологии. Он служит у нас на транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении нашей партии. Мечтать у нас не запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье. Но пусть он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. Иначе ему плохо будет".

Из писем Н.В.Устрялова Г.Н. Дикому из Харбина

№ 44

2 апреля 1934 года.

Я считаю, я знаю, что Вы абсолютно правы: "Север" связан с безусловнейшей аскезой, и при том она, "аскеза", еще, пожалуй, *minimum*. Это несомненно, и я отдаю себе в том полный отчет. Готов признать

также обязательность руководства генлинии, политической дисциплины. Но гораздо труднее отречься от всякой самостоятельности в сфере "историсофской", в области больших социально-научных синтезов, прогнозов и проч. Но и это нужно, если поворачиваешься лицом к Северу: идеократия, как известно, есть государство с обязательным не только политическим, но и общим, всяческим мирозерцанием.

[...]

"Желание рождает мысль" — быть может, поэтому [...] все стараешься уловить первые намеки на первые ласточки, имеющие возвестить некую, хотя бы и скромную политическую "весну". Если социализм наш консолидируется, условия жизни несколько улучшатся, — люди должны же подобрать! Конечно, вот сроков не уловишь, длительны русские сроки!

№ 47

7 сентября 1934 года.

...Зачем мне отказываться от права и возможности свободных суждений на политические темы и от самых этих суждений? "Мечтать у нас не запрещено, товарищи". Ни своей публицистикой, ни скромной своей спецовой работой /кстати, библиотеку на днях снова открыли, и я опять при деле/ я не приношу никакого вреда своему государству.

Но — мои "ереси"? Но это же понятие относительное. Вот сегодня узаконили "родину", а завтра, глядишь, реабилитируют и "Бога". Почему же, в форме безусловно невинной, доброжелательной, "философической", не поднимать проблем завтрашнего дня?

"Но — скажете — это небезопасно лично для вас". Ну, Вам хорошо известно, что опасности по нынешним временам нас подстерегают решительно на каждом шагу, и подчас попадаешь в пасть беде именно тогда, когда хочешь ее избежать. Тут нужен некоторый запас фатализма. В 1920 я бухнул в сменовеховский колокол, совершенно не заглядывая в книгу грядущих моих личных судеб. "И ничего, живем". Правда, теперь потяжелели немножко, годы давят, — но ведь, пожалуй, с другой стороны, это лишнее основание не обременять себя мыслями о личном будущем: жизнь-то, как это ни грустно, — в прошлом. Чего ж бояться?..

[...]

Если бы я мог рассчитывать на какую-либо практическую деятельность большого государственного масштаба, — тогда, быть может, стоило бы ради нее жертвовать маленькими радостями свободных суждений. Но абсолютно очевидно, что такая карьера, *rebus sic stantibus*, для меня исключена. И раз так, раз в перспективе — не более, чем та же "библиотека", тот же архив, право, нет смысла как-то переламывать себя.

Ласточка, минойская ласточка, унесенная вулканическим ветром на край земли, вздумала вернуться в родную кальдеру, где в зловонно-асфальтовом болоте, в дымах сернистых испарений ее поджидал венец каменноугольной неозволюции — *дипловертеброн*, живой капкан с пастью-чемоданом. Динозавры, эти интеллектуалы светлого мезозойского будущего, активно хватали и пожирали все, что движется, — однако при этом не трогали неподвижные предметы, которые их глаз не воспринимал. Подслеповатый земноводный жабокрокодил был попроще, имел лишь один рефлекс: глотал все, что само лезло ему в пасть...

Из писем Н.В.Устрялова Г.Н.Дикому из Харбина

№ 48

28 сентября 1934 года.

На всякий случай я решил привести в порядок свой личный архив — наиболее интересную переписку, дневниковые записи. Приступаю к снятию копий в четырех экземплярах и к некоторой элементарной обработке материала.

По этому поводу у меня к Вам просьба: не могли бы Вы выяснить, нет ли в Париже какого-либо учреждения, куда было бы можно передать подобные документы на изв. условиях; в сущности, мое условие одно — не считать их доступными для публичного обозрения до моего разрешения /либо, скажем, в течении 20 что ли лет/.

№ 49

27 октября 1934 г.

Дорогой Г.Н.

Последние дни сплошь находился, можно сказать, в духовном общении с Вами: перечитывал Ваши письма за многие годы! И должен сказать, что испытывал при этом чувство самого живейшего и даже подчас взволнованного интереса. И не только потому, что — минувшее проходит предо мною, — но и потому также, что многие из наших вопросов, сомнений, дружеских споров — историей еще не разрешены, и доселе нас мучат. [...] Видно, как в эпоху Николая I, общественной мысли суждено у нас биться в значительной мере подспудно, — на то и эпоха идеократий! Я уже препарировал переписку

свою с Лежневым и Сувчинским, сейчас заканчивается приведение в порядок переписки со сменовеховцами /Пл.⁵, Пот., Бобр.-П./, а потом перейдем к нашей с Вами.

№ 50

24 ноября 1934 года.

Смотрю на будущее — сами поймете — без наивных иллюзий, но с твердой готовностью к работе и к аскезе, с отградным сознанием последовательного вывода... а, главное, — домой!..

Сулит ли этот милый, родной дом еще порцию жизни, или тянешься туда, как сказочный странник, на вечный покой, — в конце концов "все благо". В Вашем последнем письме Вы очень чутко, мне кажется, отметили, что пессимизм — это убыль, исчезновение любви, маскировка душевной опустошенности. Да здравствует же оптимистический фатализм — пусть не элементарный, не наивный, а умудренный опытом веры, любви и — страдания тоже...

№ 52

Харбин, 25 декабря 1934 года.

Объективно говоря, трагические события последних недель не лишены смысла и согласуются с общей закономерностью процесса.

История отмечает многих людей первой главы, превратившихся в отработанный пар. Но, разумеется, все это куда спокойнее наблюдать из прекрасного далека во времени и пространстве. [...] Мудрено ведь, в самом деле, разобраться в клубке, включающем в себя и социализм, и родину, и мировую революцию, и единый фронт, и Лигу наций! То одни путаются, то другие. При этом "аминь" подчас оказывается более одиозен, нежели "долгой", и кивающая голова может во благовремении слететь шустрее качаемой. Замечательное время.

В письмах Устрялова явственно различимы четыре слоя, и у каждого из них — свой адрес.

Первый откровенно адресован Большому Брату и его компетентным органам. Читать это бывает горько и стыдно.

Второй обращен как бы к формальному адресату, но написан явно с учетом возможной перлюстрации. И стилистически, и жанрово это — слой "идеологии сменовеховства". Именно этот Устрялов был героем нескончаемых партийных дебатов в течение пятнадцати лет, в 1920-35 г.г.

Третий и вправду обращен к адресату, указанному на конверте, — в тех случаях, когда письмо удавалось переслать окольным путем или с надежной оказией. Отсюда можно узнать немало нового о взглядах Устрялова на происходящее.

Наконец, четвертый (а за ним угадываются другие) адресован себе самому; а поскольку отправитель и получатель в этом случае пространственно совпадают, то, стало быть, письмо обращено в иное время.

[...]

Списался с Калугой, куда в случае переезда сразу направлю семью. Мать моя ответила восторженным письмом в духе "ныне отпускаешь", и считает дни, в надежде увидеться. [...]

Продолжаю работать над архивом письменного стола и памяти. Уже около тысячи страниц перепечатано, осталось еще примерно столько же. Дописывая незаписанное, мастерю примечания, дабы итоговую черту провести, по возможности, с сознанием полноты зафиксированного. Так бывает перед...

Перед новой жизнью? Перед вторым рождением?

№57

6 апреля 1935 года.

Уезжаем скоро, — в последней декаде апреля или в первой декаде мая. Едем всей семьей — прямо в Москву.

Токийское соглашение обеспечило мне 15 тысяч золотых рублей заштатных. Продал дом за 7 тысяч йен. Итого получилась бы возможность жизни за границей лет около десяти!

Но нужно же в такие решительные минуты иметь мужество подчиниться логике идеи. Общие знакомые считают, что я сошел с ума, — с обывательской точки зрения они б.м. правы. Когда меня спрашивают, для чего я так поступаю, я отвечаю:

Для биографии.

Впрочем, шутки в сторону. Вы поймете меня лучше других. Тут не только своеобразный долг чести /абсолютно бескорыстный и не рассчитанный на то, чтобы кто-то "понял и оценил"/, — тут и собачья тоска по дому, и усталость от перманентной двусмыслицы нашего заграничного бытия. Будь же, что будет, чему следует быть!

⁵ Вероятно, в оригинале "Кл.", т.е. Ключников. - С.Ч.

№58

22 апреля 1935 года.

Да, Вы безусловно правы: путь эмиграции /хотя бы даже и с советским паспортом в кармане/ был бы не только срывом всей моей политической линии, идейным банкротством, но и источником неизбежных личных мучений, жестокой внутренней опустошенности. Возвращение на родину воспринимаю я не только как непререкаемый долг чести, но и как живую радость...

[...]

Возвращение — для надлежащей работы под знаком и в пределах правительственной политики, возрождающей и перестраивающей страну. Предоставление своих сил в распоряжение государства. Это, можно сказать, — имманентный и естественный вывод "устряловщины", ее последний, завершающий акт, осуществляющий и вместе с тем упраздняющий ее.

[...]

Если это даже и своеобразный акт самоожжения, то в духе евангельского афоризма: потерявший душу свою найдет ее.

[...]

По отношению ко мне [...] долг повелевает сугубо. В некотором роде я, как Вы знаете, — фигура символическая, репрезентативная. Недаром и в советском, и в антисоветском лагерях сейчас живо интересуются моим решением. И ясно, что это решение должно быть принято лишь по мотивам строго идейным: position oblige. При других условиях, не скрою, я предпочел бы вернуться в Россию кружным путем, через океаны, тропики и Европу, — такое путешествие издавна было заветной моей мечтой. [...]

Но что ждет меня там, за рубежом, на родине? — Вопрос интересный, но не имеющий отношения к здешнему моему выбору, — ибо долг, как известно, повелевает безусловно и не связан с представлением о награде или каре.

[...]

Государство ныне строится, как в годы Петра, суровыми и жесткими методами, подчас на костях и слезах. В своей публицистике я осознал этот процесс, уясняя его смысл и неоднократно призывал понять и оправдать его. Тем настоятельнее необходимость сделать из этих ответственных призывов не только логический, но, когда нужно, и жизненный вывод. Ежели государству понадобятся и мои собственные "кости", — что же делать, нельзя ему в них отказывать.

"Кость в груди нащупываю я..."

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что тут не только вопрос приличия, достоинства, долга, Нет, тут также неудержимое, радостное, обостренное долгой разлукой тяготение к родной земле, — как Вы пишете, — "к воздуху, цветам, краскам, климату", к душевно-телесному облику родины. Иначе говоря, тут не только долг, но и любовь. И против союза этих двух сил, — Вы сами понимаете, — не могут устоять никакие другие.

№59

11 мая 1935 года.

Посылаю Вам листок своего дневника /от 26/11/, посвященный статье Ф. в посл. № "Совр.Зап." При случае, можете ему его показать. Это, можно сказать, последние брызги моей мысли за границей — перед окончательным и всецелым приобщением к родной стихии. Там, разумеется, я уже не позволю себе даже и в дневниковых записях отклоняться от системы идей, обязательных для всех...

№60

19 мая 1935 года. Харбин.

Дорогой Г.Н.

Сегодня уезжаем в Москву.

Из воспоминаний Елизаветы Рачинской "Калейдоскоп жизни".⁶

Судьба Н.В. Устрялова после возвращения его в СССР очень долго оставалась мне неизвестной. Совершенно случайно я познакомилась со статьей Ю. Клявера в "Новом русском слове" (от 17.12.1980), в которой [...] он пишет следующее:

"Имел ли Устрялов влияние на конкретную политику советской власти? Об этом он откровенно мечтал и в предисловии к одной из своих книг писал: "Словно и впрямь удел мой — истину царям с улыбкой говорить?" Это был самообман. Власть была только у Сталина... [...]"

В ответ на сталинскую Конституцию Устрялов в последний раз отозвался в Москве статьей "Рефлекс права". Это подсказывание идеи права в стране общего бесправия стоило Устрялову жизни".

⁶ YMCA-PRESS. Paris, 1990. Стр. 184

Повторяю, рана этого поколения была смертельна. Кальдера не отпустила никого. Устрялов "как незаконная комета", казалось, вырвался из оков притяжения, — но достигнув точки ухода, бифуркации, вдруг повернул вспять и, прочертив ослепительную дугу, сгорел в атмосфере, что успела стать чужой. А те, кто не вернулся, — угасая, все чувствовали узы ее гравитации. И не нам судить, чей конец был страшнее.

*Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.*

*Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.*

*Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;*

*обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, — мой язык.*

*Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,*

*дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!*

*Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд —
поздно, поздно! — никто не ответит,
и душа никому не простит.*

Париж, 1939

КАЛЬДЕРА ТРЕТЬЯ

...Мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землей а под нами — громяхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы.

Александр Блок, 1908 г.

Мы (в большинстве) завидуем нашим потомкам. — Потомки наши будут завидовать нам. Каждый час нашей эпохи будет жеваться до исступления.

Минойский город был пуст. Мы стояли на перекрестке, среди каменных двухэтажных домов, — точнее, их остовов. Сквозь зияющие оконные и дверные проемы с рамами из добротного деревянного бруса виднелись рухнувшие лестницы, перегородки и остатки кухонной утвари. Над городом царили тишина и полумрак. Тишина — потому, что улицы были выстланы вулканической пылью, гасящей звуки. Полумрак — потому, что город, точнее, его раскопанная часть (площадь примерно в три футбольных поля) накрыт сверху шатром из рифленых конструкций, уберегающим от дождей и выветривания.

В 1967 году здесь, близ местечка Акротири у южного побережья Санторина, начались раскопки. Под слоем пемзы, толщина которой у края острова составляет "всего" четыре-шесть метров, наткнулись на остатки множества домов. Профессор Маринатос, руководивший археологами, поспешил объявить, что найден царский город, метрополия минойской Атлантиды, которую постигла участь Помпеи. Однако многое наводит на мысль, что город занимал большую часть острова, в том числе и ту, что ушла под воду, а раскопанное представляет собой что-то вроде Южного Бутова.

Пепел и пемза, которые погребли под собой руины, законсервировали и сохранили их. В противном случае мегатонны ударной волны от взрыва Санторина превратила бы все в порошок. И благодаря этому "мгновенному снимку" многое удалось узнать.

Минойский город был пуст в момент извержения. Город разрушен сильнейшим землетрясением примерно за год до этого: зерна, оставленные на развалинах, проросли до начала пеплопада. Все жители успели уйти — в отличие от Помпей, не было найдено ни одного человеческого скелета. Можно лишь догадываться об обстоятельствах трагической эвакуации. Это не было просто паническим бегством: люди успели собрать и вывезти все наиболее ценные предметы и орудия труда. Но на счастье археологов, есть вещи, которые невозможно увезти. Почти в каждом из раскопанных домов была комната, от пола до потолка украшенная фресками! Словно распахнулось окно в удивительный, давно исчезнувший мир.

...Длинные многовесельные суда, украшенные праздничными гирляндами, идущие в парадном строю вдоль берега с узнаваемыми двухэтажными домами, которые — оказывается! — были разноцветными... Голубая река (или протока?), выющаяся среди пальм и неведомых тропических растений, а по берегам — множество птиц, олени, львы, голубые обезьяны... Весенние холмы, покрытые лилиями, над ними — порхающие ласточки... Какой радостной полнотой жизни, какой спокойной энергией веет от этих картин, как не похожа их "цветущая сложность" на суровый экспрессионизм каменистых склонов нынешнего Санторина! В каком мире жили минойцы Акротири? В реальном — или фантастическом?

Они жили в кальдере.

В 1947 году шведское научное суденышко "Альбатрос", поднимая колонки грунта со дна Средиземного моря в районе острова Крит, обнаружило два четких слоя вулканического пепла на разных уровнях. Это были следы двух пробуждений вулкана Санторин. Нижний, более древний, отвечал времени последнего ледникового периода. За двадцать два тысячелетия до минойской катастрофы пепел вулкана уже однажды покрывал половину средиземноморья от Сицилии до Турции, а на его месте возникала огромная воронка...

Чаша Санторина — далеко не единственная кальдера на свете, хотя и самая большая из них. Благодаря этому обстоятельству, можно многое сказать о том, как выглядел остров в эпоху между двумя пробуждениями подземной стихии.

Дремлющий вулкан как тюбик выдавливает магматическую пасту, постепенно заполняя дно кальдеры, а вода и ветер подвергают эрозии ее стены, выстилая чашу изнутри плодородными осадочными породами. Горячие источники выносят на поверхность минеральные соли — каждый со своим неповторимым составом. Постепенно образуется долина с центральным холмом,

окаймленная невысокими горами, со своим микроклиматом, уникальным растительным и животным миром. И вся эта благодать, — подлинный Эдем в перерыве между двумя Тартарами, — на геологических часах длящаяся мгновение, по историческим меркам почти равна вечности.

Но можно предполагать, что Санторин в минойскую эпоху выглядел еще удивительнее. Если непредвзято взглянуть на известный миф платоновского "Крития", заезженный атлантафилами, то бросается в глаза необычная конфигурация центрального острова, чересчур изошренная, чтобы быть простой выдумкой.

"Посейдон, получив в удел остров Атлантиду, населил ее своими детьми, зачатыми от смертной женщины, примерно вот в каком месте: от моря и до середины острова простиралась равнина, если верить преданию, красивее всех прочих равнин и весьма плодородная, а опять-таки в середине этой равнины, примерно в пятидесяти стадиях⁷ от моря, стояла гора, со всех сторон невысокая. [...] Тот холм [...] он укрепляет, по окружности отделяя его от острова и огораживая попеременно водными и земляными кольцами (земляных было два, а водных — три) все большего диаметра, проведенными словно циркулем из середины острова. [...] А островок в середине Посейдон без труда, как то и подобает богу, привел в благоустроенный вид, источил из земли два родника — один теплый, а другой холодный — и заставил землю давать разнообразное и достаточное для жизни пропитание.

[...]

Самое большое по окружности водное кольцо [...] имело в ширину три стадия, и следовавшее за ним земляное кольцо было равно ему по ширине; из двух следующих колец водное было в два стадия шириной и земляное опять-таки было равно водному; наконец, водное кольцо, опоясывавшее находившийся в середине остров, было в стадий шириной.

Остров, на котором стоял дворец, имел пять стадиев в диаметре.[...]

К услугам царей было два источника — родник холодной и родник горячей воды, которые давали воду в изобилии, и при том удивительную как на вкус, так и по целительной силе. [...] Излишки воды они отвели в священную рощу Посейдона, где благодаря плодородной почве росли деревья неимоверной красоты и величины". (Платон "Критий")

Что за странные кольца и валы? Платон указывает на их божественное (т.е. дочеловеческое, природное) происхождение — в отличие от соединившего их поперечного канала, прорытого позднее атлантами. Разгадка проста. Подобную структуру — тройную кальдеру-матрешку — можно увидеть сегодня собственными глазами, пролетая на самолете над вулканами камчатской гряды. Видимо, через некоторое время после основного взрыва вулкана последовал другой, меньшей мощности, кальдера которого оказалась заключенной внутри основной, затем — еще один, самый слабый, и лишь после него вулкан затих на тысячелетия...

Катастрофа Санторина заживо кремировала крито-минойскую цивилизацию, которой отныне суждено было остаться золотым сном человеческого детства. Несколько десятилетий никто из врагов не решался прийти на пепелище, покуда развалины кносского дворца-лабиринта, словно освободившуюся квартиру репрессированного, не заселили грубоватые, жизнерадостные ахейцы.

Конечно, часть сельского населения в центральных районах Крита уцелела. Конечно, в живых остались некоторые представители минойской элиты, — те, кого катастрофа застала в Малой Азии, в Египте или на Кипре, кто чудом спасся, укрывшись в пещере или землянке бедняка. Они остались, но их родина, минойская держава, распалась на первоэлементы земли, воздуха, огня и воды, ускользнула в иероглифы Саиса, в греческий миф, обернулась Атлантидой. Они остались, — как свет звезды, которая угасла, — доживать свой век рядом с ахейцами, вожди которых понимали минойский язык. Ведь это был язык их хозяев, властителей моря, могущественных врагов и мудрых учителей. Но спустя два века и сами ахейцы оставили бастионы Микен и Тиринфа под натиском дорийских орд и рассеялись в походах "народов моря". Тайна "линейного письма А" была забыта, потомки минойцев окончательно растворились в волнах пришлого варварства, а на склонах кальдеры, на руинах критских дворцов запестрела плесень чужих жилищ...

⁷ 1 стадий = 193 метра, т.е. радиус равнины - примерно десять километров.

"Новоселы моей страны!" — взывает Марина Цветаева, еще одна из бездомного племени возвращенцев. Выкрикивает и — осекается. Язык ее стихов — язык Атлантиды. И бузина возле дома, который пуст, для пришельцев связана не с "кровью сердца", а с киевским дядькой.

Устрялов учился говорить с "новоселами" на их собственном "новоязе". И был услышан...

Помню, сидел как-то в казенной пермской столовке. Кругом за столиками — красноармейцы, комиссары, чрезвычайцы (из "батальона губчека")... Украдкой всматривался, запоминая... Вспомнились невольно парижские музеи революции. "Тип якобинца" отошел в историю, ярко запечатленный, отлившийся в чеканные формы. Так и здесь. "Тип большевика" — несомненно, столь же отлился уже. Что-то общее было в них всех. В массе. Выражение лиц, стиль одежды, манера держаться... Жуткий, страшный тип. Но — чувствуется сила, своеобразие, главное воля. "Программа двадцатого века", — как "89" и "93" были программой девятнадцатого.

...Потом тоже будут показывать в музеях восковыми фигурами.

[1920 г.]

Камня на камне не оставит пролетающий над Россией вихрь ни от старой, выродившейся власти, ни, что еще важнее, от старой радикальной интеллигенции, ни от отжившего социального порядка. Изменится весь облик страны. [...] Но что же делать?... Это — Россия, и притом единственная: другой нет и не будет... И под новым обликом в ней — та же субстанция, та же великая национальная душа. Какова бы она ни была, наша жизнь — в ней, а не вне ее.

Если за эти пять лет преобразились люди революции, то изменились и многие из нас, интеллигенции старой России. [...] Мы освободились от великого порока "гордости ума", перестали считать себя солью родной земли, и готовы служить этой земле, хотя избрала она не тот путь, какой в самоуверенном ослеплении мы ей указывали. Мы узнали, что все пути ведут в единый Рим...

Мы не отрекаемся от родных пепелищ, не забываем дорогих могил, но знаем теперь, что от прошлого ничего, кроме пепелищ и могил, не осталось. Мертвое мы уже не примем за живое, не станем поперек жизни. Не забудем, что и старые свои исторические задачи новая Россия разрешает по-новому, в свете нового всемирно-исторического периода, в который вступает современное человечество.

[7 ноября 1922 г.]

Много потрясений пережило "цивилизованное человечество" за эти годы, и много, слишком много, горя. [...]

И вся эта нынешняя бестолковица потерявших подлинную взаимную связь, маниакально "самоопределяющихся" народов, кружащихся иступленно в каком-то мрачном танце сатаны, разве не свидетельствует она о мертвенном разложении человечества на составные элементы?

А роковое бессилие справиться с чарами войны, формально прекратившейся? А явственное отсутствие единой великой идеи, способной дать существенно новое содержание историческому процессу?..

[ноябрь 1920 г.]

[...] Человечество [...] искупает "первородный грех", свое роковое несовершенство [...] . Прогресс есть прежде всего искупление. Вот почему он катастрофичен (предсмертная мысль Вл.Соловьева). Его катастрофы суть одновременно проклятие и благословение человечества: будучи следствием "испорченности" человеческой природы, они вместе с тем — залог ее исцеления.

[1920 г.]

Уж не нырнуть за ним, летейские воды покрылись ледяной броней; но как проруби, еще открыты в мир глаза, хранящие его живые черты.

Седовласая парижанка Лидия Григорьевна Эпштейн-Дикая прекрасно помнит Николая Васильевича как преподавателя в харбинском училище, старого семейного знакомого, партнера по воскресным походам, ближайшего друга ее отца, — которому и были адресованы харбинские письма. Мы сидели за чаем в квартире Льва Остермана, — неподалеку от легендарной 3-й улицы Строителей, где жил герой "Иронии судьбы", — и она, загадочно улыбнувшись, поведала, что Устрялов был "шармёр"... Покуда ее глаза, видевшие так много, лукаво, исподтишка посматривали на меня (знакомо ли "молодому человеку" это слово?), я вспоминал, где читал его (не слышал живьем никогда!). Конечно, — Бердяев, в "Самопознании", так именовал любимого кота Мури. Потом по этому поводу над ним еще издевался Галковский в своем "Тупике"...

Женщины любили его. Он отвечал им взаимностью. При всем том, при всей былинности его жизненных обстоятельств Устрялов — совсем не герой. Достаточно вспомнить тот обморок (если Гинс, конечно, его не присочинил). А первая реакция на весть о падении Омска? "Дров купили на днях, вставили рамы... Запаслись сахарком. Боже, опять горе..." Ему была свойственна

болезненная мнительность в вопросах здоровья. Устрялов считал, что у него хронический колит, и чуть было не собрался по этому поводу помирать, питался молоком и кашей. А потом, пройдя по случаю обследование у американских врачей, не обнаруживших никакого колита, мгновенно выздоровел и сладострастно предался чревоугодию, с простодушной радостью оповещая об этом друзей.

"Шармёр". Вот он — на архивном фото — в стайке харбинских дачников, высокий и немного грузноватый, и впрямь похожий на кота, стоит, склонив набок голову с пресловутой мефистофельской бородкой. Вокруг — чьи-то дети и жены, за спиной, хвойным медвежьим боком — Большой Хинган. А дальше, словно брустверы и эскарпы, возведенные для обороны Москвы от всепроникающей устряловщины, громоздятся Яблоновый хребет, Саяны и Енисейский кряж, Алтай, Кузнецкий Алатау, тысячеверстные приобские болота, последним бастионом — Урал. Там, в столице, одинокий маньчжурский профессор права — притча во языцех, товарищ Сталин вслед за Лениным величает его главным идеологом классового врага. Его не устают поминать Троцкий и Бухарин, Зиновьев и Киров. Вот вам и "шармёр"...

Но так ли уж страшен Устрялов, как его малюют Ильич и товарищ Коба?

Первое впечатление от полемики лидеров ВКП(б) с главным сменовеховцем — скука и отвращение. Затем приходит удивительное открытие: ведь никакой полемики-то нет! Вместо этого — "диалог" глухонемых: хитрецы из Политбюро, мечта грома в харбинского Фому, целят в московского Ерему. Фамилия бедного Николая Васильевича используется как бранное слово, которым Троцкий припечатывает Сталина и наоборот, Зиновьев и Бухарин, побывав устряловцами, в свою очередь, приписывают устряловщину генеральной линии партии. Это и был, по определению самого виновника торжества, "карнавал для галерки с сожжением чучел", — кстати, проницательно проанализированный Агурским.

Картонный Сталин отчаянно сражался с надувным Устряловым...

Как известно, товарищ Сталин был изрядный шутник. Только вот не слишком ли — на полтора десятилетия! — затянулась эта шутка? Пятнадцать лет имя основателя "сменовеховства" мусолилось на страницах официальной печати, склонялось в протоколах пленумов и съездов, трепалось в дискуссиях с партийной оппозицией. В 1936 году Устрялов удостоился в первом издании Большой советской энциклопедии персональной статьи таких размеров, что мог позавидовать не один представитель ленинской гвардии. У энциклопедической истории был хэппи-энд: ныне профессор У. во всем раскаялся, признал ошибки и успешно преподает в МИИТе. Но точку в борьбе с неискоренимой устряловщиной год спустя поставила не эта статья, а ст.ст. 58-1"а", 58-8, 58-10, 58-11...

Точку ли?

Сталин явно страдал неким "комплексом устряловщины", испытывал безотчетный страх перед чем-то, связанным с этим бесконечно далеким человеком. Перед чем? К чему всемогущему генсеку эти угрозы с высокой трибуны съезда в адрес профессора-одиночки, за которым — ни партии, ни Запада, ни "крыши"? Они могли иметь только обратный эффект. *Устрялофобия* — вот диагноз психического недуга ВКП(б). Но помогло ли физическое устранение ее видимой причины?

Рациональный анализ текстов самого Устрялова не помогает объяснению этой фобии. Он лишь задает новые загадки.

Во множестве статей и писем Устрялов бьется над задачей, которая, очевидно, не имела и не могла иметь решения. Он пытается нащупать такое положение возвращенца между белой эмиграцией и советской властью, которое не было бы ни полной капитуляцией, ни непримиримой деструктивной оппозицией. Он ищет какую-то линию достойного человеческого поведения в пространстве между двух враждующих лагерей. Но линия не отыскивалась, потому что не было пространства. Поэтически это еще было мыслимо: "А я стою один меж них // В ревущем пламени и дыме // И всеми силами своими // Молюсь за тех и за других". Но Устрялов-то хотел вывести формулу, определить координаты этой позиции, выразить ее рационально, да притом так, чтобы она была признана в обоих лагерях. Результат было нетрудно предугадать. К тому же в русской культурной традиции глубоко укоренены страх оборотничества и связанная с ним специфическая

подозрительность к перебежчикам. Враг рода человеческого как таковой, в своем собственном облике часто удостаивается лишь снисходительно-юмористического отношения, черты с чертенятами — неизменные неудачники и страдальцы в народных сказках. Подлинный ужас вызывает зло в оболочке добра — Антихрист. Роль в моноспектакле, которую пытался сочинить Устрялов, неуклонно воспринималась одной стороной как роль Иуды, предавшего Белое дело, а другой — как коварный замысел классового врага подорвать советскую власть изнутри.

Однако на страницах прессы устряловщине противостояли не только партийные бонзы, занятые "сожжением чучел", и бдительные журналисты-разоблачители, но и официальные коммунистические профессора, считавшие своим долгом полемизировать "по существу". Попытки Устрялова направить эту полемику в осмысленное русло лишь углубляют ощущение постигшей страну интеллектуальной катастрофы. В тщетных усилиях приноровиться к уровню "оппонентов" он становился на четвереньки, склоняясь к колыбели пролетарской идеологии, лепетал: "ма-м-ма", "ба-б-ба"... Но дитя, классово шурясь, пролепетывало в ответ свой непреклонный "бобок".

Лишь иногда, то ли забывшись, то ли устав от дремучести ахейцев-"новоселов", Устрялов переходит на минойский и произносит пламенные монологи и целые лекции, которые повисают в пустоте.

В них не содержится каких-то беспрецедентных открытий, — да этого и трудно ожидать от газетно-журнальной публицистики. Дело в ином. Устрялов свободно и непринужденно, как своё, использует понятийный арсенал, наработанный "серебряным веком". Каждый такой монолог — концептуальные очки, открывающие новую грань реальности, невидимую невооруженным глазом. Не вина, а беда Устрялова, что Проницательный читатель использовал эти очки в соответствии с "ноу-хау" из басни Крылова.

Что ж, поможем, пожалуй, следователю Панкратову и другим читателям Николая Васильевича определить его классовое нутро и партийно-политическую принадлежность. Будем основываться, как это принято у нас, на признательных показаниях самого Устрялова, благо он не поленился, дал на себя матерьяльчик.

Монолог первый. О рыночных реформах в России.

Первое, что инкриминировалось Устрялову — призывы к буржуазному перерождению советской власти и апологетика рыночного хозяйства. В его статьях времен НЭПа, действительно, немало пассажей, которые украсили бы "Новый мир" времен безраздельного господства Селюнина-Шмелева. Однако ему и в голову не приходило, что "рынок" может быть возведен в ранг "идеологии", из средства превращен в цель, боевой лозунг и критерий партийности.

Судя по всему, из бурь революции Россия выходит отрезвевшей и "оземлившейся", утратившей многое от своей былой психологии. Часто приходится слышать, что страна психологически "американизируется". [...] Ушла из русской жизни чеховщина, тургеневщина, исчезли и мотивы народнического "покаяния". — Но не значит ли это, что ушла и "достоевщина"? Что нет уже и гоголевской "птицы-тройки"?..

Но что же остается тогда от "великого призвания" России? Не о "второй же Америке" размышляют лучшие люди Европы и не для того же тосковал одинокий Чаадаев, метался в духовной лихорадке Герцен, пророчествовали славянофилы, бредил вещий Достоевский, не для того же творилась русская история и созидалась русская мысль, чтобы после величайшей из национальных революций русский мужик приобщился идее свободного накопления, а русский интеллигент — духу размеренного мещанства!

[8 апреля 1923 г.]

[...] Мы ни с какой стороны не заинтересованы в реставрации "обычных буржуазных форм", как таковых. Больше того: мы не думаем, что эти формы в аспекте всеобщей истории вечны или даже особенно долговечны [...] Ленин ошибается, когда говорит, что, указывая на грозящую советской власти опасность "скатиться в буржуазное болото", мы "стремимся к тому, чтобы это стало неизбежным". Буржуазный строй не есть для нас фетиш, идол, цель в себе, и мы не только не отрицаем исключительного значения русской революции, как первого бурного откровения некоей новой исторической эры, но и стремимся к тому, чтобы как можно больше положительных ее достижений в социально-политической сфере остались зафиксированными, чтобы она дала максимальные результаты и в русском, и в мировом масштабе.

[июль 1922 г.]

Как всегда, текст Устрялова повергает Проницательного читателя, вождеющего расстановки точек над всем алфавитом, в состояние злобного недоумения. Ежели вещей Достоевский бредил не для того, чтобы русский мужик мог купить билет Мавроди, то уж не для того ли, чтоб он насладился продрозверсткой? Ну, а коли речь (память ностальгически суфлирует) о "всемирно-исторической роли Великой октябрьской", то подозрителен настойчивый акцент на ее национальном духе и характере...

Монолог второй. О национализме и космополитизме.

Читателям всех трех изданий БСЭ известно второе из главных прегрешений Устрялова: имперский патриотизм и великодержавный национализм. Авторы и составители энциклопедии жили в то счастливое время, когда еще не было известно, что в силу непостижимых причин (то ли по определению, то ли в соответствии с секретным Указом) приверженность к рынку абсолютно противопоказана патриоту, и наоборот. Поэтому в качестве портрета нашего героя они преподносят жутковатый гибрид Гайдара со Стерлиговым.

Итак, Устрялов — национал-большевик, чуть ли не фашист, непримиримый враг пролетарского интернационализма и космополитизма. Терпеливо сносивший подобный бред добрых три года, Устрялов разразился в октябре 1923 года фундаментальной статьей "О нашей идеологии".

...В печати нам уже неоднократно приходилось слышать упреки в некоторой "старомодности" нашего национализма, неизбежной ограниченности нашего патриотического кругозора, в недостаточном чутье тех "катастрофических" перемен, которые вносит в мировую и русскую историю нынешний кризис. [...] Их доводится выслушивать нередко и от близких нам тактически в данный момент [...] берлинских "наканунцев" ("соскользнувших влево" сменовеховцев), и московско-питерских примиренцев (Лежнев, Тан, Адрианов). Само собою разумеется, что и коммунистические идеологи, со своей стороны, вполне присоединяются к подобным обвинениям по нашему адресу...

Трагикомизм ситуации в том, что Устрялов (не знаю, сознательно или невольно) в качестве "отдельных недопонявших" перечисляет практически всю свою потенциальную аудиторию. Вне этого круга мало кто, за исключением соседей и родственников, мог интересоваться или просто узнать, — о чем он там пишет в своем Харбине?

[...] Превращение мира в одно хозяйственное целое еще далеко не убивает ни национальных культур, ни национальных особенностей. Интернационал, по самому смыслу этого термина, есть не уничтожение наций, а только установление постоянной и положительной связи между ними. В пределах исторического предвидения (и то достаточно еще отдаленного и туманного) рисуются "соединенные штаты мира", а не "единый человеческий народ", лишенный расовых и национальных перегородок. Этнографические и культурные типы сохраняют свое индивидуальное бытие. [...] Подобно тому, как истинная гармония "не есть мирный унисон, а плодотворная, чреватая творчеством, по временам и жестокая борьба" (К.Леонтьев), — так и жизнь человечества не может быть сведена к узкому единству отвлеченного космополитизма, ибо представляет собою своего рода радугу расовых особенностей и национальных культур. Пусть эта радуга в процессе всемирной истории перманентно тяготеет к "белому лучу" всечеловеческой идеи, но никогда нельзя забывать, что белый луч есть, в свою очередь, результат сочетания красок, творческий синтез цветов.

Таким образом, признание неизбежности и желательности существенных изменений в сфере взаимоотношений между государствами и нациями отнюдь не может парализовать работы по уяснению "ликов" отдельных национальных культур и тем более стремления к собственному национальному самосознанию. В доме Отца обителей много, и каждый народ призван заботиться прежде всего о своей обители. Украшая ее, он совершенствует весь "дом Отца".

В интернациональном доме "отца народов" те, кто стремился к национальному самосознанию, обретал совсем иные обители...

[...] Чтобы достичь высот интернационала, необходимо прежде пробудить и развить в нациях подлинное культурное самосознание. Иначе вместо интернационала "мировых штатов" — явления высшей дифференциации и интеграции — получится просто первобытный хаос, таящий в себе неизбежный распад.

Следствию стоит обратить внимание, что речь-то идет о двух разных интернационалах. "Белый", устряловский интернационал — это "творческий синтез цветов", "явление высшей дифференциации и интеграции". Красный Интернационал — монохроматичен, являет собой торжество социальной однородности. Получается, что "красное" как составная часть должно входить в устряловское "белое". Сэр Исаак Ньютон одобрил бы эту мысль, но вряд ли ею восхитились бы Радек с Бухариным, Врангель и столь любимый Николаем Васильевичем адмирал Колчак. Продолжим, однако, заслушивание признательных показаний.

Перед Россией — великая задача духовного самосознания. [...] Как бы ни относиться к импрессионистской системе Шпенглера, — многое из того, что он говорит о "душах культур", заслуживает самого пристального внимания.

Тем знаменательнее его оценка России как самостоятельного культурного мира, таящего в глубине души своей источник новых откровений духа, новых духовных ценностей. "Русский дух", — уверен Шпенглер, — знаменует собою обетование грядущей культуры, между тем как вечерние тени на Западе становятся все длиннее". Шпенглер провидит даже, что русский народ даст миру новую религию, "третью из числа богатых возможностей, заложенных в христианстве"...

[октябрь 1923 г.]

В родном СНГ, где борцов с фашизмом во сто крат больше, чем фашистов, а поголовье последних неизмеримо превышает число действительно знающих, что такое фашизм — фамилия автора "Заката Европы", вместо того, чтобы облегчить участь Устрялова, способна вызвать самые неожиданные подозрения с противоположных сторон. Поэтому для верности я не поленился добраться до раритетной книги Устрялова "Германский национал-социализм". Цитирую:

Национальная идея жива, и долго будет жить, но те формы ее воплощения, которые отстаиваются фашизмом, внутренне обветшали. [...]

Большевизм принципиально интернационалистичен, и в этом отношении, несомненно, созвучен большой, "вселенской" идее наступающего исторического периода. Фашизм вызывающе шовинистичен, и в этом своем качестве "реакционен", принадлежит эпохе уходящей.

[1933 г.]

Впрочем, Устрялов и тут не дает расслабиться любителям однозначно определять партийную принадлежность методом вылавливания словосочетаний:

В своем расизме Гитлер выступает законченным эпигоном реакционеров прошлого века. Необходимо тут же отметить, что в итальянском фашизме расистский дух отсутствует начисто: Муссолини для него и достаточно культурен, и достаточно дальновиден. Иначе говоря, расизм отнюдь не есть необходимый элемент фашистской идеологии.

Монолог третий. О славянофильстве и западничестве.

Поминание "русского духа" (пусть даже со ссылкой на Шпенглера) дает все основания заподозрить Устрялова в славянофильстве. Тем более и следствие однозначно вскрыло его славянофильские пристрастия времен Московского университета.

Эти строки пишутся в момент очередного кульбита общественного мнения, когда вышеуказанные пристрастия уже, вроде бы, перестают быть поводом для подозрений в измене, но еще, кажется, не стали основанием для автоматического предоставления поста в администрации и пожизненной пенсии в восемь с половиной минимальных зарплат. Отсюда и неопределенность жанровых координат данного раздела на широкой шкале от доноса и до представления к награде. Признания самого Устрялова не облегчают задачу следствия.

Когда из общества улетучивается иррациональное, — общество начинает шататься: излишняя трезвость действует на него опьяняюще.

[...]

Интересы оказались социально бездарнее, бесплоднее идей⁸. Ведь еще Аристотель отмечал роковую хрупкость общества, построенного на эгоизме его элементов, не спаянного высшими началами, нравственными или религиозными. Хитроумными комбинациями, мастерскими маневрами старается старая Европа предотвратить окончательную катастрофу: все чудеса парламентской техники, покладистой печати, патетических ораторов, прирученного "социализма" — к ее услугам. Но эти фальшфейеры все же не заменят угасшего очага, священного огня, вырванного из людских душ...

[...]

Русская революция ставит вопрос о смерти старого мира, о радикально новой исторической эре. [...] Русские революционеры — одновременно бледные эпигоны западных доктрин и новые гунны, люди пылающей крови, грозящей воспламенить весь мир. Русская революция — чрезвычайно сложный процесс, резко выделяющий Россию из лагеря европейских народов, переживших войну. Русская революция, как историческая стихия, безмерно шире и глубже своей официальной идеологии. [...] Шпенглер недаром почувствовал в России источник нового исторического периода, резервуар новых народов, выходящих на историческую арену. *Не нужно истолковывать этого предчувствия в грубо славянофильских категориях. Старая Россия уже не скажет нового слова "гнилой Европе", ибо она сама гнила раньше нее.*⁹ Но, судя по многим признакам, послевоенная, революционная Россия чужда тем упадочным веяниям, от коих задыхается Запад. [...] "Принцип власти" в его иррациональных истоках еще, по-видимому, свеж в нашем народе.

[1924 г.]

Похоже, обвиняемый сознательно путает следствие: поругав гнилые западные демократии, тут же распространяет эту гниль на отечество, мимоходом еще ухитрившись лягнуть основоположников марксизма. Чем, как не злым умыслом, объясняется то, что, провозглашая внешне славянофильские тезисы, он постоянно ссылается не на Аксакова с Киреевским, а на космополита Шпенглера и западника Герцена? И вполне закономерно он докатывается до безответственного утверждения:

Белинский и Писарев такие же русские, как и Достоевский, равно как "интернационал" есть, несомненно, искривленное отражение "всечеловечества".

[22 августа 1920 г.]

Монолог четвертый. О собственности.

В ситуации, когда и демократическая, и национал-патриотическая лакмусовые бумажки, будучи приложены к Устрялову, покрываются неопределенными пятнами всех цветов радуги, остается прибегнуть к испытанному марксистскому методу классового анализа. А марксизм учит, что главный критерий политической идентификации — это вопрос о собственности.

Наши бояре и раскольники видели Антихриста в Петре. Пьер Безухов высчитывал звериное число в применении к Наполеону. Многие готовы были обличать пентаграмму на лбу Вильгельма. — Убогая и курьезная страсть людей к ошибкам перспективы, к "абсолютизации относительного"!

[...]

"Буржуй — собственник. А что такое собственность? — Экономическая проекция метафизического понятия личности, — где я, там и мое"... Ну, а "абсолютная мера человеческой личности — личность божественная, абсолютная личность, Христос"...

[...] Только г. Мережковский способен с серьезной миной [...] считать собственность религиозной категорией! [...] Снова — "абсолютизация относительного", только еще в более нелепой, искусственной форме.

"На основании естественного права все вещи суть общие", — говорил Фома Аквинский. [...] "Наг должен ты предаться в руки Спасителя, — учил св. Франциск Ассизский, тоже отнюдь не могущий быть заподозренным в опасном пристрастии к Антихристу, Шопенгауэру и Ницше. — Через собственность, о которой люди заботятся и из-за которой они ведут взаимную борьбу, любовь к Богу и ближнему уничтожается". А св. Бенедикт Нурсийский даже запретил монахам употребление слова "мой" и "твой", а велел вместо этого говорить "наш". — Нужно ли еще приводить аналогичные цитаты из христианских авторитетов средневековья? Нужно ли вспоминать о коммунизме первохристиан? О монастырской общности имуществ?

⁸ Ср. с тезисом "Святого семейства": идеи неизменно посрамляли себя, как только отделялись от интереса.

⁹ Курсивные выделения в текстах Устрялова сделаны мною. - С.Ч.

Спешу оговориться, что из этих цитат и фактов я отнюдь не хочу выводить заключение, будто отрицание собственности и в самом деле — безусловный религиозный долг христианина. Совсем нет, но становится лишь очевидной беспочвенность противоположного утверждения Мережковского. Приходится признать, что попытка непосредственно связать с христианством тот или иной общественный строй ошибочна по самому своему заданию: она не возвышает хвалимого строя, а искажает чистую идею христианства. [...]

Собственность, как таковая, индифферентна христианству; равным образом, индифферентен ему и коммунизм. Все зависит от нашего внутреннего отношения к той и другому. Именно это отношение и подлежит религиозной оценке, религиозному суду. Вот почему с христианской точки зрения можно и оправдывать, и осуждать как собственность, так и коммунизм. Религиозная идея, взятая в себе, — вне этих категорий, выше их. [...]

Отсюда столь натянута и нечестива допускаемая Мережковским религиозная абсолютизация идеи личной собственности и собственника. Отсюда же и еще одна глубокая фальшь его статьи — объявление великой французской революции "святою", а великой русской революции в ее нынешнем облике — "антихристовой".

[20 апреля 1921 г.]

Как жаль, что идеологам приватизации не хватило образования и воображения! Опираясь на Мережковского, они могли бы провозгласить приватизацию богоугодным делом и организовать платное окропление ваучеров святой водой. Зато их противникам еще не поздно подвести православный фундамент под национализацию и пролоббировать предание анафеме Госкомимущества. Увы, кто бы из них не победил — в любом случае устряловщина опять обречена торчать бельмом в глазу властей, портить им всю идеологическую малину и осложнять политическое самоопределение верующих избирателей.

Монолог пятый. О российском социализме.

Поскольку поймать обвиняемого на слове, похоже, не так-то просто, спустимся на твердую почву фактов. А эти факты свидетельствуют, что Н.В. Устрялов не только принадлежал к классу собственников, но и был одним из лидеров партии конституционных демократов — принципиальных противников социализма и главных идеологов Белого дела. В этой связи интересно узнать, что он пишет о социалистических перспективах России.

Если рискнуть парадоксом, то нельзя не подчеркнуть, что нынешняя "коммунистическая" Россия объективно является наименее социалистическим государством в современной "буржуазной" Европе. Веяния "государственного социализма" в какой-либо Англии или, скажем, Чехии с их рабочим законодательством, финансовой политикой, усиливающимся влиянием государства на экономическую жизнь и т.д. — бесконечно ощутительнее, нежели в разоренной, окустаренной, о "первоначальном накоплении" мечтающей России. Это обстоятельство отнюдь не отнимает у русской революции ее всемирно-исторического значения, но вместе с тем, однако, фатально предопределяет собою колорит ближайшего века русской истории. [...]

[октябрь 1923 г.]

"Мы обогнали, потому что отстали" — разве не точь в точь эту формулу упорно твердит в наши дни Ленин, разумеется, вне всякой сознательной связи с мечтою Герцена. Но эта мечта, становящаяся вещью, очевидно, как-то связалась с русскою жизнью, вошла в организм души русской интеллигенции, и вот вдруг причудливо воплощается в грозу и бурю...

[...]

Россия семимильными шагами пройдет пространство, преодолевавшееся Западом кровью и потом на каждом вершке. "Не должна ли Россия пройти всеми фазами европейского развития, или ее жизнь пойдет по иным законам? Я совершенно отрицаю необходимость этих повторений. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаниями исторического развития наших предшественников, но так, как зародыш проходит до рождения все низшие ступени зоологического существования... Россия проделала свою революционную эмбриогению в "европейском классе"... Мы за народ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее виселицами, каторжною работою, казематами, ссылкой, разорением и нестерпимою жизнью, в которой живем!" (Герцен). И в речи, произнесенной перед иностранцами 27 февраля 1855 года, [...] Герцен бросает ту же мысль с чувством нескрываемой гордости: "Нам вовсе не нужно проделывать вашу длинную, великую эпопею освобождения, которая вам так загромождала дорогу развалинами памятников, что нам трудно сделать шаг вперед. Ваши усилия, ваши страдания — для нас поучения. История весьма несправедлива, поздно

приходящим дает она не обглодки, а старшинство опытности. Все развитие человеческого рода есть не что иное, как эта хроническая неблагодарность".

[...]

Свою веру в будущность России Герцен, как известно, связывал с чрезвычайно высокой оценкой крестьянской общины. Община приучила наш народ к социализму, от нее непосредственно легко перейти к социалистическому строю общества, осознанному на Западе, но невоплотимому там без русского импульса. [...] Европейская идея, усвоенная русской интеллигенцией ("европейским классом" — по Герцену) найдет через нее осуществление в русском народе. "Социализм ведет нас обратно к порогу родного дома, который мы оставили и отправились в великую школу Запада. [...] Нет в Европе народов, более подготовленных к социальной революции, чем все неонемеченные славяне, начиная с черногорцев и сербов и кончая народностями России в недрах Сибири... Я чую сердцем и умом, что история толкается именно в наши ворота". [...]

Этим букетом цитат мне сейчас хочется реабилитировать лишь самую простую истину, столь часто отрицаемую ныне в ложных полемических целях: — истину глубоких духовных корней русской революции. Не извне навязана она русскому народу, а является органическим его порождением, со всеми светлыми и темными сторонами своими. Она есть одновременно апофеоз и Немезида истории русской интеллигенции, русской политической мысли, и трудно сомневаться, что со временем будет она признана моментом напряженнейшего бытия России. Она — страшный суд над всеми нами...

[25 февраля 1922 г.]

Вновь и вновь, на разные лады Устрялов не устает повторять, что провал России в кальдере — совсем не случайное несчастье... Но эта простая с виду мысль, как всякая объемная картина, имеет и второй план. Речь — о глубочайшем прозрении будущего России, восходящем еще к Чаадаеву и Герцену. Идея Герцена о "революционной эмбриогении" намекает на возможность метаисторического зазеркалья, где архаичные (в частности, до- и предкапиталистические) структуры оказываются прообразом — а значит, готовым материалом для создания! — социальных структур будущего, постиндустриального и технотронного. *Для Устрялова кальдера, провал России сквозь твердь Истории означает не только пролом, через который хлынула магма внеисторического хаоса, но одновременно и прорыв, открывающий реальность путей в зазеркалье, величайшее откровение Метаистории в историческом времени.*

В 1956 году, несмотря на антисталинскую оттепель, следователь даже не стал доводить формальную проверку дела Устрялова до конца и сообщил заявителнице, что основания для его пересмотра отсутствуют. 18 августа 1988 г. уже знакомый нам полковник Панкратов в духе перестройки и гласности выдвинул такую масштабную программу расследований, что ее реализация в полном объеме могла бы трудоустроить целый полк юристов. Но, надо полагать, ровно три года спустя их трудам все равно пришел бы конец.

Устрялов оказался не по зубам "новому политическому мышлению". Победа демократии снова ничего не изменила в его судьбе. Почему-то даже национал-патриоты, остро нуждающиеся в своих теоретиках и героях, не спешат взять его идеи на вооружение, несмотря на подсказки М.Агурского.

Взгляд общества "новоселов"-лимитчиков на людей, подобных Устрялову, остается взглядом павловской собаки: она твердо усвоила, что появление на экране круга предвещает лохань с "Педигри-Пал", эллипса — шоковую терапию. В крайнем случае, при очередной перестройке, меняющей местами узаконенные значения круга и эллипса, собака быстро переучивается. Но в садомазохистском эксперименте академика Павлова круг на экране медленно, неуловимо сплющивался в эллипс — и несчастная собака впадала в истерику! Мерцание в голограмме Устрялова, напоминающее разом "демократа" и "патриота", вызывает у сторожевых идеологов истерический лай с произвольной дефекацией, переходящий в идентификационные обмороки. И тут уж вся надежда на старину дипловертебрана, который, нимало не комплексуя по поводу неспособности различить идейную масть едомого, целиком полагается на политическое чутье, точнее — внутриглоточное осязание.

Но тайна Устрялова лежит не здесь, она гораздо глубже. Ведь до сих пор не произошло главного — его реабилитации в общественном сознании. Волны-цунами "возвращения забытых имен", архивных изысканий и публикаций, добравшиеся уже до второ- и третьестепенных фигур, обошли его безвестный прах стороной. А ведь это — ученый, первая же заметная работа которого стала темой заседания Московского Религиозно-философского общества! Одна из самых ярких

фигур в партии кадетов! Автор шестнадцати книг, изданных в Харбине, среди которых — "Политическая доктрина славянофильства", "Этика Шопенгауэра", "О политическом идеале Платона", "Проблема Пан-Европы", "Понятие государства"...

Устрялов провалился в какую-то невидимо зияющую щель между цивилизациями и эпохами, выпал из советско-российской истории. И впрямь — единственная его фотография, помещенная в книге Агурского, кажется, транслирована ламповым передатчиком с обратной стороны Луны. Желто-бурые, негнущиеся листы харбинских книг крошатся под пальцами, как папирус. Только — вот незадача! — у меня вдруг обнаружился собственный "комплекс Устрялова". Чем больше вчитываешься, вживаешься в немые свидетельства этой судьбы, тем непреложнее понимание, что уж кто-кто, — а он-то укоренен в Истории! Он — там, он в ней живет, а выпали из нее — мы. И аргумент массовости на этих весах ничего не значит:

Я не один, но мы — еще в грядущем.

Устрялов — какой-то концептуальный оборотень, его писания похожи на интеллектуальную (и не только!) провокацию. Профессор черной магии Воланд посмеивался над советским катехизисом: что же это у вас, чего нихватишься — ничего нет? С устряловщиной обратный случай: за что ни возмись — все есть! Интернационализм сосуществует с национал-патриотизмом, рынок соподчинен почвенничеству, демократия ведет к идеократии, христианство не противоречит социализму...

Есть старинный фантастический рассказ "Уровень шума", кочующий из антологии в антологию. Группе ученых предъявляют киноматериал о некоем Даннинге, который изобрел антигравитационный ранец, взлетел на нем (отснятая пленка прилагается) и в ходе испытаний разбился. От изобретателя-одиночки осталась лаборатория, битком-набитая всевозможными приборами, и библиотека, поражающая тематическим разнообразием и немислимым сочетанием враждующих теорий и школ. Ученые сразу же разделяются на две группы. Первая (большая) заявляет, что человека с подобным сочетанием взглядов, интересов и форм деятельности просто-напросто не может быть в природе, а следовательно, вся история с Даннингом — надувательство. Вторая (малая) группа всему верит и, окрыленная верой, приступает к работе над безнадежной, как считалось, задачей. Результат: преуспели обе группы. Первая блестяще доказала, что Даннинг — выдумка психологов-экспериментаторов, занятых исследованием творчества. Вторая — открыла антигравитацию.

Читатель ждет от меня (позевывая) сеанса магии с разоблачениями Устрялова в качестве тайного самурайского демпатриота и подельщика Тухачевского. Я жду от читателя (не левитации, нет, — гораздо большего!), чтобы тот вместе со мной задумался. Поэтому хочется воззвать к нему словами Дон Гуана: "Не желайте знать // ужасную, убийственную тайну!" Но законы жанра требуют, чтобы рано или поздно некая рациональная мораль была произнесена.

Так в чем же непостижимая идея фикс Устрялова, сокровенный смысл его "послания" нам? Что за пятно проказы, роковая печать *чужого* лежит на этом человеке и вызывает всеобщее отторжение: вражду соратников по Белому делу, охотничью стойку Лаврентия Палыча и инстинктивное неприятие современных ценителей мысли серебряного века?

Похоже, он не осознавал ни тайны, ни всей глубины собственной обреченности, а потому, — как нечто разумеющееся, как жест врожденной любви, не требующей ни "признаний", ни клятв, — твердил на разные лады одно и то же:

[...] Слава Богу, имеются люди, — и, повидимому, их все-таки большинство (!! — С.Ч.), — которые умеют руководствоваться в своих поступках и мыслях не своим отношением к тому или другому правительству, правящему в данный момент страной, а своим отношением к ней самой как к целостному, живому организму.

[17 июня 1920 г.]

Увы, не было ни большинства, ни (пусть подавляющего, но хоть как-то объединенного) меньшинства. Была горстка разрозненных бесконечно одиноких людей, которая чувствовала то же, что понял Устрялов.

Имя "Россия" принадлежит не кальдере, а вулкану. Подлинная русская идея не разделяет, а объединяет свои конкретные исторические воплощения: древнюю княжескую Русь, Московское царство, империю Романовых, Советский Союз и даже РФ/СНГ; связывает православие-самодержавие — с марксизмом-ленинизмом, смуту — с перестройкой, рыночников — с нестяжателями, Серафима Саровского — с ядерным Арзамасом-16.

[...] Лишь у мертвых народов, уже осуществивших сполна свою земную миссию, вложенные в них "идеи" застыли в прозрачных, "кристалльных" формах. Но душа живого народа — не свершившийся факт, а непрерывно и творчески осуществляемая возможность, ключом льющий поток непрестанно обновляемого, диалектически развивающего себя духовного содержания.

А раз так, то никогда не следует объявлять "ненациональную" новую власть страны за то, что ее идеология круто расходится с привычной идеологией старой власти и нашей собственной идеологией. Новое время выдвигает новые стороны национального лика страны, и недаром историки потом обычно устанавливают, что несмотря на кажущуюся для современников резкую новизну и "ненациональность" нового, оно корнями своими глубоко уходит в старое и тесно связано с ним. Это уже давно доказано по отношению к великой французской революции (ср. хотя бы книгу Сорэля). Это же блестяще доказал В.О.Ключевский относительно петровского переворота.

Я должен сам категорически признать, что считаю официальную "философию" большевизма глубоко ложной и, так сказать, "еретической". Экономический материализм, как и всякий другой, есть, по моему мнению, философия весьма невысокой марки, внутренне бедная и в сфере чистой мысли опровергающая сама себя. Равным образом, в конечном счете ложна и фальшива та религия человечества ("гуманизм") и земного рая, которая питает собою символ веры политических руководителей нашей революции.

Но, во-первых, я знаю, что эти в целом своем ложные догмы своим конкретным воплощением нередко несут собою осуществление некоторых частичных истин, им не чуждых (по слову Вл.Соловьева, что всякое заблуждение всегда содержит в себе крупицу истины). Во-вторых, я не могу не видеть, что эти догмы представляют собою крайнее выявление одной из сильнейших струй русской культуры (Белинский и Писарев такие же русские, как и Достоевский, равно как "интернационал" есть, несомненно, искривленное отражение "всечеловечества"). И, наконец, в-третьих, я прекрасно вижу также, что процесс революции в его полноте значительно более широк и глубок, нежели его "канонизированная" идеология, и вмещает в себя многие другие струи русской культуры, вплоть до соловьевских.

[22 августа 1920 г.]

Интуиция не подвела Иосифа Виссарионовича. Устрялов оказался человекообразным чудищем, монстром, "люденом" из повести Стругацких "Волны гасят ветер". Единство смертельно враждующих Россией воспринималось им как реальность — непреложная, непосредственно данная. В переломные эпохи подобные мутанты появляются среди людей искусства: Блок, Волошин... Но для них эта никем, нигде и никогда не виданная единая Россия являлась не столько предметом анализа, сколько субъектом любви. Устрялов едва ли не первым попытался претворить свое чувство в понимание, философский дискурс, метаидеологию и основанное на ней политическое действие.

Правда, "тайная доктрина" Устрялова на первый взгляд не производит впечатления масонской эзотерической глубины. Но эталонный мудрец Сократ, в сущности, тоже проповедовал изрядную банальность: постижение Истины важнее борьбы за власть. Публика вежливо покивала и собралась расходиться. А он возьми — да и умри за это свое "общее место". Тогда только с ним — нет, не согласились, конечно, но стали считаться как с любопытным казусом.

[...] Верный себе, упоенный Русью, певец осеннего ветра, журавлей, болот и крестов приемлет и новые звуки, ибо претворяет в себе все черты дорогого лица. В новой одежде, в рождающемся шуме фабрик и шахт чует он все ту же, несравненную свою Возлюбленную, прекрасную всегда и во всем: —

На пустынном просторе, на диком
Ты все та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом
И другая волнует мечта.

[...]

И непосредственно рядом с тютчевскими струнами, рядом с мотивами из Достоевского, не заглушая и не перебивая их, вдруг звучат у Блока фабричные трубы, закопченные дымом: —

Уголь стонет и соль забелелась,
И железная воеет руда...
То над степью пустой загорелась

Мне Америки новой звезда!

Это — она, это — Россия, и этого достаточно. Сердце поэта ей не изменит, не смутится, каким бы ликом она ни обернулась. [...]

Вслед за Достоевским, вскрывшим "две бездны" русской души, вслед за Вл.Соловьевым, учившим о "темном корне" лучших плодов бытия, Блоку доступны, внутренне близки все противоречия, заложенные богом в душу России. Прикованный к ней, сам чувствующий ее в своей собственной душе, он влюблен во все изгибы ее духовного существа, во все изломы ее природы. За ними вдохновенной интуицией провидит он какую-то благу основу, какую-то великую правду: счастливый дар любви, этого мудрого, высшего знания, совлекающего внешние покровы, обличающего душу живую. [...]

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!

[28 октября 1922 г.]

— В одном из московских кабинетов британского социолога Теодора Шанина, в здании международного фонда "Культурная инициатива"...

— в каморке, где в мою бытность еще стояли ксероксы, куда я, во всем блеске административного величия, забегал по десять раз на дню поглядеть, как печатаются стенограммы клуба "Гуманус"...

— в кладовой, которая на исходе первого года гласности однажды оказалась вся завалена пальто, шубами и дубленками участников стоячего заседания "Московской трибуны" (стульев не хватало, вешалок не было)...

— в клетушке, где в период "застоя" теснились панцирные кровати и сиротские тумбочки ведомственной гостиницы Минхимпрома...

— в комнатке, где большое окно, убранное снаружи затейливой белокаменной кладкой XVII века, гляделось некогда в лужи Козлова переулка, а малое выходило на задний двор, и в которой любил сживать хозяин, дьяк Ратманов, — ибо не видны были отсюда ненавистные, до слез завистные хоромы выскочки Шафировва (позже известные как Юсуповский дворец, загаженный затем ВАСХНИЛом)...

— у окна, которое век спустя, после очередной перестройки оказалось замурованным внутри дома, таинственного московского дома, где жил Сухово-Кобылин...

— у окна, которое с тех пор смотрело не наружу, а внутрь, — тем располагая к рефлексии, — и выходило не на улицу, а на лестницу...

— над лестницей, по которой хаживал рефлексирующий миллиардер Джордж Сорос, а вслед за ним и члены правления: академики совсем разных наук Раушенбах и Заславская; вежливо улыбающиеся друг другу писатели Распутин и Бакланов, коих разве только на этих ступеньках и можно было видеть вместе; Юрий Афанасьев, тогда еще кандидат в президенты несвободной России; Даниил Гранин, поразивший мое поколение повестью об Александре Любищеве; и уже отрывающийся, уносимый ветром перестройки в чужедальнее "ближнее зарубежье" Тенгиз Буачидзе...

— над лестницей, которая выдерживала и писателей, и философов, партократов с диссидентами, последних космонавтов и первых кооператоров, а однажды проплыл по ней, мягко ступая, адвокат Макаров — и зазмеились трещины...

— в элегантно-чуждом, как западная манекенщица, офисе, где ничто, казалось, не напоминало о вышесказанном...

...я встретил странную женщину.

Она выглядела, несомненно, русской, — но проскальзывал в ее речи, в движениях некий намек на близкую возможность распада монолитного "суперэтноса" на множество странных стран, русскоязычных, но друг от друга далеких. Такими, быть может, предстают в глазах англичанина переселенцы-англосаксы из Австралии или Южной Африки. Может, так, а может — иначе, только тогда я не успел об этом подумать. Потому что она, как царевна-лягушка, вдруг метнула из рукава на стол целый веер картин-фотографий.

И тут я увидел...

Я увидел черно-белую заставку на экране недавно купленного телевизора "Темп-6". Диктор сказал, что сейчас нам покажут изображение лунной поверхности, впервые в мире переданное станцией "Луна-9" с места посадки. Стрелки часов на телевизоре застряли и, казалось, мучительно решают, вперед им двинуться или назад. Наконец на экране помехами зарыбила звездная пыль,

под ней нехотя обрисовался каменистый склон, похожий на знакомую угольную кучу за домом. Но лунный уголь в четырехстах тысячах верст отсюда, казалось, вот-вот вспыхнет, очутившись в фокусе миллионов устремленных на него глаз. Ведь перевернутый контур этих камней, никогда еще — никогда! — не отпечатывался на сетчатке человеческого глаза. Помню таинство зрительной инициации: "И увидел Бог, что *это* хорошо". И впервые испытанное чувство космического предназначения человека. И гордое осознание — смотрите, ведь это мы смогли! — доброго могущества Родины...

Камни на фотографиях светились такой же первобытной подлинностью, что и те, три десятилетия назад. Но в них не было космического холода. Наоборот, иные глыбы дышали жаром, исторгнутым из недр. Кипели грязевые озера, над утесами клубился ядовитый пар. И надо всем этим буйством планетарной плоти вместо искристой надлунной бездны был опрокинут плотный облачный шатер незнакомого неба. Временами фотокамера, казалось, взлетала к самому куполу. Тогда взору открывалась необитаемая горная страна. Она казалась неземной — если бы не склоны, вдруг отливающие алой и голубой сталью, прорезанные белыми складками ледников, как плащи на русских иконах. Воронками зияли срезанные конусы вулканов, целые — иногда дымились. А таинственная станция все вела свой репортаж, вновь пикируя к поверхности планеты. Многие изображения были окаймлены по горизонту грядой невысоких холмов-обрывов. Здесь, в этих уютных котловинах, манили к себе взгляд болотца, со дна которых били горячие ключи. Со всех сторон к ним сбегались деревья и травы. Неуловимо изменчивые, они вели свою игру-калейдоскоп под текущим как вода небом. От кадра к кадру нарастало скрытое напряжение. Словно космический зонд, поблескивая объективом, летел над зыбью творящего Соляриса, а тот все искал, угадывал образ, — ближе, ближе, — и все не мог поймать ностальгическую, безукоризненно земную ноту.

И тут я увидел...

Золотую осень — летом. Воздух, прозрачный на вкус. Озеро с отзвуком подводных колоколов. Красоту без пестроты. Остров-отражение в море красной травы. Свой дом.

Тогда я спросил — что это?

И, обомлев, впервые услышал в живой речи странное книжное слово, что так занимало меня несколько лет:

— Кальдера вулкана Узон.

Это была Камчатка. Сибирь. Россия.

КАЛЬДЕРЫ РОССИИ

Россия *была иною* и *будет иною*.

И.Ильин

Тела русских рассеяны по необозримым просторам и ведут самостоятельную, разнообразную жизнь. Но души их сгрудились на пяточке провинциального клуба, где танцуют под репродуктор и смотрят общие сны. Вся Россия, кажется, больна одними и теми же сновидениями, которые тянутся бесконечными мексиканскими сериалами. Тайна Беловодья, главный нерв Опоньского царства — в будке трансперсонального киномеханика, что заставляет граждан пятнадцати независимых государств дружно рыдать в нечесаные бороды и индийские наволочки и вскакивать со стоном монархиста Хворобьева: "Все те же проклятые сны!" Спросонья русский банален, и лишь очухавшись, являет черты крепнущей индивидуальности.

...Лежа в темноте на верхней полке, в странном оцепенении, едва приоткрыв глаза, я безучастно наблюдал (точнее, что-то во мне наблюдало), как все медленнее проплывали и

наконец, качнувшись, остановились перронные фонари незнакомой станции, как край мерцающего светового круга лег поперек бессмысленной надписи "Кипяток", как некто полуневидимый, словно деловитый жук, двигался вдоль состава, постукивая молоточком по колесам. Но вот локомотив впереди коротко, прощально взревел — и душу пронизал холодок невозвратимой потери. Вагон, вздрогнув, понес меня прочь от безымянного вокзала с его остановившимся мгновением, со спящими незнакомыми людьми, с их таинственной жизнью, которой никогда не суждено соприкоснуться с моей.

Судя по саже на наволочке, это случилось со мной во времена паровозов, — в детстве, в сентябре, в поезде "Днепропетровск — Барнаул".

**Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов...**

Жизнь современного западного общества представляет собой непрерывную трагедию. Каждый вечер гражданин, засыпая, навсегда оставляет привычный мир, ибо, просыпаясь утром, он находит его неуловимо другим. Всю ночь в редакциях и информационных агентствах журчат телефаксы, бьется напряженный пульс во всех каналах связи, струится поток новостей, — ибо с другой, солнечной стороны земного шара бурлит жизнь, происходят тысячи событий, работает мысль миллионов, развиваются технология, управление и экономика, создаются новые произведения искусства. А когда к ночи, устав, творцы отходят ко сну — эстафетная палочка безумной гонки переходит к проснувшимся антиподам.

Постиндустриальная цивилизация наловчилась превращать эту ежесуточную трагедию в рутину, укутывая роды и похороны в рекламную обертку, хотя и не меняя при этом их сути. Жизнь проходит на колесах поезда, за окнами которого без усталости меняется пейзаж, она проглатывается, как многослойный гамбургер, по которому трагедия перемен размазана тонким слоем. Развитие ползет по телу общества наощупь неутомимой улиткой, все время находя себе опору в существующих формах и институтах, слой за слоем преобразуя их.

Российское развитие — это ожидание на перегонах, до того беспросветное, что колеса прикипают к ржавеющим рельсам; это отчаянные рывки-погоны, от которых рвутся паровые котлы; каторжные подъемы, где пассажиры бредут впереди локомотива, прокладывая рельсы; безумные броски через пропасти, когда на лету, не оглядываясь на отрывающиеся вагоны, надо успеть переделать паровоз в самолет.

Здесь, в эпилепсии скачков, перемежаемых полосами застойного паралича, — истоки пресловутого русского "раскола". Человеческое существо не в силах перенести такой темп и ширину шагов, воспринимает каждый из них не как преобразование самотождественного организма, а как смерть и новое рождение. И тогда общество оказывается расколотым на две непримиримо враждебных половины. Одна помещает "Россию" в прошлое, воспринимает все новое как абсолютно чужое, инородное и иноземное, как смертельную угрозу образу и смыслу своей жизни и объявляет этому новому священную войну. Другая опрокидывает понятие "Россия" в будущее, безоглядно отдается пьянящему ветру перемен, пафосу созидания идеальной жизни на пустом месте, воспринимая все старое как уродливую карикатуру на идеал, как хлам, загромождающий стройплощадку. Здесь — корни худшей из разновидностей гражданской войны, в которой противника воспринимают не как обычного врага, подпадающего под кодекс воинской чести, а как мутанта, оборотня, воплощение зла в оболочке соотечественника. В мирное время этот смертельный недуг тлеет в хронической форме: часть русских заранее ошестивается на все сколько-нибудь новое, другая спит с геростратовой канистрой под подушкой, готовая по первому зову сжечь все, чему поклонялась.

Если бы не эта дурная диалектика самосознания — можно было бы говорить об известных преимуществах российских рывков в будущее. Даже если инициаторы реформ искренне ставят только задачу воспроизведения, повторения западных достижений — такую инерционную махину, как Россия, все время заносит куда дальше, чем планировалось, и она на какое-то время оказывается "впереди планеты всей". Повторяю, если бы... Человеческая цена каждого из рывков

— истребление половины социально-активного населения, самогеноцид, после которого на долгие годы у общества не остается сил на что-либо, кроме качения по инерции до полной остановки.

Выход из порочного круга — смена типа развития (либо отказ от развития вообще). Но под "сменой типа развития" обычно принято понимать переход к западному варианту ползучей "перманентной эволюции". Применительно к России это означало бы: чтобы избавиться от цикла клинических рождений-смертей, нужно умереть один раз, но окончательно, — ибо то, что родится, будет принадлежать к иному цивилизационному типу. Это напоминает хирургическую операцию по трансплантации чужой головы (вкуче с сердцем) как средство избавиться от хронической болезни мозга.

Но возможно иное понимание "смены типа развития". Представим, что к моменту очередного транскультурного прыжка в обществе сформируется влиятельная духовная корпорация, которая, указывая на две готовые поляризоваться субкультуры, старую и нарождающуюся, провозгласит, вложив радикально новое содержание в старую формулу: "Это — мое, и это — мое тоже"! Что она окажется в силах настолько углубить образ России, бытующий в самосознании общества, чтобы тот органично включил в себя и то, что было, и то, что еще предстоит...

Судьба и личность Устрялова, его отношения с русской историей и культурой, со временем, властью и самим собою содержат намек на возможность такого благодатного чуда.

Если о человеке сказано: "мыслящий тростник", то народ — мыслящий вулкан. У этого вулкана две ипостаси — благая и смертоносная.

В котле национальной культуры "работает" пассионарная энергия слагающих ее этносов, к которой во все большей мере добавляется химическая энергия их взаимодействия и ядерное тепло творческого синтеза новых форм деятельности. Эта энергия, синтезируемые соединения и структуры, извергаясь на поверхность, образуют внешние формы, создают богатство, формируют динамику данной культуры и при ее посредстве становятся общечеловеческим достоянием.

Однако, если природное начало доминирует в социальном "вулкане" над осмысленным, высвобождение энергии синтеза приобретает катастрофический характер. Заполняющая новую кальдеру культура, отрицая собственную динамику, отвердевая в "окончательных формах", тем самым цементирует жерло вулкана и постепенно сдавливает, а затем и наглухо перекрывает магматический канал, воспроизводя механизм катастрофы.

Речь не о том, чтобы окончательно замуровать, "заткнуть" вулкан. Если даже это оказалось бы возможным, то означало бы самоубийство культуры. Речь о том, чтобы, оплодотворив источник *энергий* источником *смыслов*, заключить его в гибкий контур *метакультуры*, которая позволит превратить смену культурно-исторических типов из серии катастроф в цепь осмысленных самопревращений. Последовательность национальных фенотипов тогда предстанет как этапы развертывания единого культурного генотипа.

Устрялов стал одним из первых творцов русской метакультуры. Вырвавшись из ненавистных Бердяеву рамок "символического творчества", он творил не в слове только, но во плоти. И не вина его, что весь наличный строительный материал — собственные, Устрялова, "кости", в которых он считал себя не вправе отказать российско-советскому государству:

Господи, — вот плоть моя!

Как не знающая себя скрипка, которой орудует гребец на каное...

Как микроскоп, обреченный, хрустя тончайшей оптикой, вколачивать гвозди...

Как Хлоя, изнемогшая от страсти, не утоляемой бессмысленным ерзаньем Дафниса...

...Устрялов сам пытается угадать и выговорить, на что он обществу, и на что оно ему.

Не в том дело, какой политической ориентации держались Милюков и Набоков, — их значение и существо их в сотой доле не исчерпывается всеми этими "старыми" и "новыми тактиками" — трафаретами нынешней минуты.

Это — люди большой культуры, подлинного духовного аристократизма, по которым история и мир судят о нации и эпохе. Что бы они ни думали и что бы они ни делали, — нельзя их не ценить, даже и

оспаривая их, даже и борясь с ними. Увы, — немного в России таких людей, и беречь их нужно, как зеницу ока.

[30 марта 1922 г.]

Устрялов объединяет, стягивает рамкой этого рассуждения и людей власти, и людей духа, ощущая если не единство, то некий эрос их взаимного притяжения. Ведь истинная духовность подразумевает власть, — как власть идеи-демона над одержимым ею, так и духовную власть носителя и представителя идеи над теми, кто чувствует ее радиацию. А истинная власть не может, не должна быть бездуховной... И нетрудно угадать, к чьей фигуре Устрялов стремился прежде всего приложить этот масштаб.

В плане всемирной истории это был один из типичных великих людей, определяющих собой целые эпохи. [...] Он может быть назван посмертным братом таких исторических деятелей, как Петр Великий, Наполеон. Перед ним, конечно, меркнут наиболее яркие персонажи Великой французской революции. [...] Он своеобразно претворил в себе и прозорливость Мирабо, и оппортунизм Дантона, и вдохновенную демагогию Марата, и холодную принципиальность Робеспьера.

[...] Как стихия, он был по ту сторону добра и зла. Его хотят судить современники, напрасно — его по плечу судить только истории.

[...]

Да, он творил живую ткань истории, внося в нее новые узоры, обогащая ее содержание. Медиум революционных сил, он был равнодушен к страданиям и горю конкретного человека, конкретного народа. Он был во власти исторических вихрей и воплощал их волю в плане нашего временно-пространственного бытия. И роковая двойственность, столь явная для нас, современников, почил на нем, как на всех, подобных ему, исторических героях и гениях... [...]

[...] Он был, кроме того, глубочайшим выразителем русской стихии в ее основных чертах. Он был, несомненно, русским с головы до ног. [...]

Пройдут годы, сменится нынешнее поколение, и затихнут горькие обиды, страшные личные удары, который наносил этот фатальный, в ореоле крови над Россией взошедший человек миллионам страдающих и чувствующих русских людей. И умрет личная злоба, и "наступит история". И тогда все окончательно поймут, что Ленин — наш, что Ленин — подлинный сын России, ее национальный герой — рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и Толстым.

Пусть сейчас уже для многих эти сопоставления звучат парадоксом, может быть, даже кощунством. Но пантеон национальной истории — по ту сторону минутных распр, индивидуальных горестей, идейных разногласий, преходящих партийных, даже гражданских войн. И хочется в торопливых, взволнованных чувствах, вызванных первою вестью об этой смерти, найти не куцый импрессионизм поверхностного современника, а возвышенную примиренность и радостную ясность зрения, свойственную "знаку вечности".

[24 января 1924 г.]

Уже и сейчас ясно, что Ленин — знамя не только русской революции, но и больших мировых перемен и передвижений, быть может, очень далеких от канонов ленинизма, но глубоких, огромных, знаменательных.

Быть может, не исключена досадная возможность, что пресловутый ленинизм исторически окажется в таком же отношении к Ленину, как русское толстовство к Толстому, французский бонапартизм — к Бонапарту, сектантский догмат — к живой идее, схема — к личности... Воистину ревнивейший соперник кремлевского мечтателя — мумифицированный труп его у кремлевской стены...

[21 января 1925 г.]

Здесь Устрялов, ограниченный рамками жанра (газетка для нескольких сот харбинских обывателей), поневоле "недостойн сам себя", идет по пути упрощения. Ленин, в отличие от Петра, не был наследным монархом, он наследовал Марксу и Плеханову, а форму своей власти изобрел и построил собственными руками. Наполеон тоже получил власть не в наследство, — однако он не писал ничего подобного "Империализму как высшей стадии..." Толстому были чужды доблести Дмитрия Донского. Нет, Ленин не был "один из типичных великих людей", — в его фигуре угадывается совершенно новый тип "великого человека". Ему принадлежит фантастическая затея "философского парохода", но им же было санкционировано "возвращенчество".

Начиная с Ленина, русская Власть и русский Смысл перешли на качественно новый уровень взаимоотношений, вступили в многосложный, на глазах обрастающий ритуалами танец любви-ненависти, похожий на брачную пляску скорпионов. Никогда он не был танцем бездушного властителя с одухотворенно-безоружной жертвой! В подтексте их отношений лежало совершенно

иное: за то, что Николай I недооценил пару Пушкин-Чаадаев, династия в лице другого Николая в конечном счете поплатилась крушением. Власть уничтожала носителей смысла по отдельности; Смысл угрожал смертью всей властной корпорации. И одновременно их неодолимо влекло друг к другу. Какой интеллигент не мечтал, как и Устрялов, "истину царям с улыбкой говорить"! А железный Феликс никому и ни за что не передоверил бы ночной допрос Бердяева. Кровожадность российской власти и повышенную смертность отечественных интеллигентов можно объяснить сладострастием, помноженным на законы жанра. Власть-Клеопатра вожелела быть регулярно оплодотворяемой Смыслом, благо и желающих было навалом. И не вина ее, а беда, что "Египетские ночи" коротки, и поутру приходилось, повинувшись предрассудкам, посылать своих ночных повелителей на казнь.

Устрялов не оставил нам текста "Воображаемого разговора со Сталиным", однако мы можем восстановить его в основных чертах. Один из хорошо знакомых Устрялову людей, близких ему по духу, вступил в диалог с Троцким в период его максимального могущества. В архиве В.Н.Муравьева найден черновик следующего письма.

В.Н. Муравьев — Л.Д. Троцкому.

В результате разговора с Вами я пришел к некоторым мыслям, которые считаю необходимым Вам представить. Я не находил бы возможным злоупотреблять вновь Вашим вниманием, если бы не полагал, что формулирование моих разногласий с Вами имеет и некоторое общественное значение. Я невольно в известном смысле являюсь представителем части русской интеллигенции, той бесправной части, которую суровый пролетарский режим не только лишил возможности выражать свои мысли, но лишил даже самой способности мысли, заставив ее заняться исключительно насущным хлебом.

Между тем речь идет о разногласии необычайно глубоком и чреватом последствиями для всего будущего. Я ясно ощутил, говоря с Вами, что это не есть столкновение двух различных политических взглядов. *Это встреча двух совершенно различных масштабов мысли, суждение об одной и той же действительности в двух совершенно различных плоскостях.* Вопрос сводится к следующему: *должны ли мы применить к окружающему масштаб новой всемирной эры, которая захватит века, а может быть и тысячелетия, или же происходящее постигнет судьба всех подобных ему революционных потрясений?* [...]

Ваше действие есть историческое действие. Меня оскорбляло в нашей революции отсутствие в ней историзма. В стихийном ее движении соединилась антиисторичность русских интеллигентов, воспитанных в подполье, вдали от практической жизни и антиисторичность невежественных масс, живущих только сегодняшним днем. [...] Всякий практик, всякий истинный строитель знает цену истории как резервуара, из которого черпается материал для построения будущего.

[...]

[...] [Большевизм] несомненно нечто большее, чем теория, так же как его государственная идея есть нечто большее, чем идея чисто государственная. Она — идея, приближающаяся к теократической. В этом правильный путь.

[...]

[Теократический идеал] имеет над Вашим то преимущество, что захватывает всего человека, не только телесного, но и духовного, и всю конкретную историю, а не взятую искусственно одну только экономическую схему. Такой вселенский всеобъемлющий идеал мелькнул в Русской Истории, когда инок Филофей в послании Великому Князю Московскому хотел сделать из него наследника Всемирной империи Рима. Это был не грубый захватный империализм политического завоевателя, но попытка обосновать завоевание духовное — объединить человечество в единой Церкви — Царстве Правды. [...] Русский народ искал Новый Иерусалим, сказочное Царство истины, где господствует вечная справедливость. И предвестники Ваших идейных коммунистов были, быть может, паломники наших средних веков, схимники и святители, над которыми в Вашей печати и в Ваших кругах принято теперь так грубо издеваться. Русская интеллигенция вследствие реформы Петра отошла от народа и его религиозности и, сохраняя национальные черты, пошла искать Царство Правды в науке и социализме. Там она проявила ту же твердость и подвижничество, что схимники в своих скитах. И в конце концов она вернула нам идеал Третьего Рима в виде Идеала Третьего Интернационала. Ленин оказался духовным преемником старца Филофея. Я думаю, что *Третий Рим шире и глубже Третьего Интернационала и в конце концов его поглотит.*

[...] Вообще коммунизм, вероятнее всего, представляет собой идею еще свернутую, из которой в последующем могут развиваться самые неожиданные новые идеи.¹⁰

¹⁰ "Вопросы философии", 1992 г., № 1, стр. 89-114.

Какой же новый, объемлющий, метакультурный миф таится в свернутом виде в оболочке исторически ограниченной коммунистической идеи? Какова духовная вертикаль этой идеи, в чем состоит "масштаб новой всемирной эры", который к ней нужно приложить?

Далеко сижу — высоко гляжу: Устрялов из своего маньчжурского далека пристально всматривался в первые шаги метаисторического младенца.

...Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?!
Левой!
Левой!
Левой!

О, это — старое дерзание, давнее как мир. [...] — "Будьте, как боги"...

Седая, длинная традиция люциферианства — от соблазна змея и Вавилонской башни до Штирнера (homo, как deus) Фейербаха, Ницше. "Человекобожество" Достоевского... Но только все это вдруг облеклось в плоть и кровь, разлилось в ширь бесконечную, стало потрясающим фактом, в масштабе всемирно-историческом. [...]

[...] Сокрушаются ветхие скрижали, вершится творческое перерождение мира, начинающее бунтом и вызовом самоутверждения, древними стрелами Люцифера. В глубине, в непреклонности бунта — порука его жизненности и грядущей оправданности. И в борьбе своей с Богом новый человек, как когда-то Иаков, жутко близок к Нему...

[...]

Но, главное, — роковая порочность. [...] Вне живого Бога праздник вещей невозможен. Мясо, плоть — разлагается, гибнет, становится мертвечиной. [...] Торжество "материи" противоречиво в себе. Пока *внутренне не преодолена смерть*, — нет прекрасного праздника блаженства. Всякая радость отравится ее жалом...

[декабрь 1920 г.]

Так вот оно, космическое измерение прагматичного, приземленного возвращенчества: *творческое перерождение мира — преодоление смерти*.

Протестантские теологи пишут, что осмысление катастрофы еврейского народа во время Второй мировой войны ведет к изменению в понимании самого смысла христианства, влечет за собой вероучительные последствия. Но разве чудовищная цепь катастроф русского народа в первой половине XX века не требует духовного подвига, переосмысления глубинных основ веры? Вера, которая настолько окаменела в своих традиционных формах, что мучительная гибель целого культурного континента не оставляет на них даже царапины, это *вера-кальдера*. Застывшая снаружи, она будет взорвана и преобразована Духом изнутри.

В 1925 году Устрялов совершил полулегальную вылазку в Москву. Одной из его главных целей была встреча с последователями Николая Федорова.

Не нужно быть "федоровцем", чтобы почувствовать в этой своеобразной системе нечто незаурядное и захватывающее. [...]

Да, да, она, так сказать, мифоносна, и потому многообещающа, особенно в наш век, когда человечество явно тоскует по новому, или обновленному мифу. [...]

И вместе с тем она имманентна позитивному духу эпохи, традициям светского "прогресса" последних веков. Она бесстрашно доводит эти традиции до последнего вывода, и тем самым взрывает их изнутри. В ее науковерчестве есть нечто наивное до варварства: известно, что примитив, коснувшийся науки, верит в нее куда горячее, нежели перегруженный ученостью мудрец, хлебнувший из этого кубка, подобно Фаусту, вместе с опьяняющими ядами гордыни трезвящие яды сомнения.

[...]

...Чуждаясь мистики, федоровцы впадают в наиболее сомнительный ее сорт: в мистику рационализма. Нет у них интуиции тайны. Они готовы рассуждать чуть ли не о конкретных рецептах грядущего научного воскрешения мертвых [...] (Ср. Муравьев — "Овладение временем"). [...]

Рационализм сплетается в этом мировосприятии с волюнтаризмом: человечеству доступна всецелая истина, и его задача — войти в ее разум. Царство Небесное силою берется. [...] Значит, главное, — воля к общему спасению. Значит, главное, — дело.

[...] Но примечательность этого учения [...] еще и в том, что корнями своими оно уходит в христианство.

Оно представляет собою героическую попытку оживить христианскую идею в истории, непосредственно связав ее с лейтмотивом современной цивилизации [...] и, тем самым, модернизировать историческое христианство.

Разумеется, этот громадный замысел знает свои опасности. Федоров — на грани "богочеловечества" и "человекобожества", если вспомнить старое противоположение Достоевского. "Будьте, как боги", — тезис Люцифера. "Вы боги и сыны Вышнего все" — тезис христианский. Конечно, должны тут быть некие смысловые границы и различия, но ясно, что здесь есть некое касание. Тут — узел федоровского учения как религиозной концепции.

Опасность усугубляется тем, что, поскольку оно стремится войти в историческую действительность и стать ее фактором, его развитие рискует усилить именно человекобожескую его устремленность за счет богочеловеческой. [...]

Однако, не нужно считать эту опасность непреодолимой: христианские энергии имеют свою природу и свою самозаконную силу. Миф, сначала наивный в своей оголенной душевной данности, затем обычно обрастает глубинами культуры. [...]

Любопытно подчеркнуть, что федоровская концепция, русская и по корням и по стилю, своими практическими установками созвучна, прежде всего, советским умонастроениям в их предметном существе. [...]

Вспоминаю свои встречи с покойным В.Н. Муравьевым в Москве летом 1925 года. Ярый федоровец, он был в то же время ярким сторонником советской революции; и характерно, что именно федоровское его "обращение" превратило его в советофила. Он утверждал и убеждал, что преобразовательный пафос Октября нужно принять целиком — и, больше того, нужно идти "дальше", чем идут пока большевики.

[...] Бедняга, через несколько лет он погиб в Нарыме: *революция беспощадна не только к тем, кто отстаёт от нее, но и к тем, кто ее "опережает"*. [...]

[...]

Зреют условия торжества идеи подлинно универсальной, подлинно мирового диапазона. Явится ли она? Станет ли она действенной силой? Найдет ли она в себе энергию воплощения? Не знаем. Но, во всяком случае, чтобы победить на земле, идее надлежит быть не только и даже, пожалуй, не столько логически безукоризненной, сколько эмпирически цепкой, органической, почвенной, напитанной плотью и кровью. Миром всегда правили страстные идеи.

[22 октября 1933 г.]

Но не переходит ли здесь Устрялов грань между философией и публицистической образностью? Казалось бы, — вопрошает логический, технократический ум, — как может нечто обладать одновременно "эмпирической цепкостью" и "универсализмом мирового диапазона", да при том еще содержать в себе "энергию воплощения"?

В математике известен способ доказательства "теоремы существования", основанный на предъявлении объекта, удовлетворяющего необходимым свойствам.

Идея отдельной исторической эпохи образует силовое поле, в котором возможна постоянная жизненная ориентация с помощью компаса или встроенного магнита. Но в районах аномалий или в период сильных магнитных бурь эта ориентация может отказать, — не говоря уже о стыке эпох, когда смещаются сами магнитные полюса.

Именно тогда взор человека особенно часто обращается к *звездному небу*. Ибо оно — не только источник эстетического восторга, сфера, куда человек всегда помещал своих богов и причина непреходящего изумления ученого ума, — но и универсальное средство ориентации.

Однако звездное небо помогает и там, где компас вообще бессилен помочь. Оно предоставляет знающим, помимо ориентации по странам света, еще одну уникальную возможность: точно определить свои координаты в жизненном пространстве, конкретно привязав их к земной поверхности. Секстант и астролябия не боятся магнитных бурь.

И наконец, звездное небо (включая одну из звезд по имени Солнце), безусловно, содержит в себе "энергию воплощения" любых идей, — прошлых, настоящих и будущих.

Если бы Устрялов успел создать законченное философское учение, его следовало бы назвать "конкретный идеализм".

Толстой как человек, как творец и художник, не умещается [...] в рамки Толстого-моралиста.

В кризисе духовного самоуглубления он познал правду "в ее бытии", в ее "идее", как сказали бы философы. Но ему осталась чужда правда "в ее становлении", в развитии. Толстой не хочет знать истории. Это — один из самых неисторических, даже антиисторических умов человечества. [...] Во всем, что не вмещает в себя добра целиком, "теперь же и здесь же", — он усматривает лишь грех, отрицание, слепоту.

Он фанатически требователен, даже жесток в своем идеале любви и бесконечно строг к жизни, этот идеал ограничивающей.

"Не противься злу насилуем" — сказало ему высшее откровение, и с тех пор всякое принуждение в его глазах стало безусловно греховным. И так как социальная жизнь человечества строится на начале принудительном (право, государство), он не останавливается перед тем, чтобы отвергнуть все древо человеческой культуры.

"Не надо подчиняться государству, не надо идти на войну, не нужно судов, даже науки, искусства не надо"... Уподобиться полевым лилиям, отдаться закону всеобщей любви. Все люди — братья. Не нужно власти. Не нужно повеления и повиновения.

Эти заповеди — дети высшей правды, как она воспринята великим моралистом. Но во всей своей чистоте брошенные в мир, как действенные призывы, они встречаются с другими заповедями, заветами той же правды, но только воплощающейся во времени. И, встретившись, бледнеют, бессильные себя оправдать в сфере несовершенной, но совершенствующейся жизни.

[...]

Это — глубочайшая трагедия земного существования. В здешней жизни людей бывает слишком часто, что призыв к немедленному осуществлению предельной правды Божией нарушает самую эту правду в ее естественном и нормальном, объективном, жизненном воплощении. Люди "града вышнего", подвижники и святые, всегда идут впереди своего века, жизнью своею нарушая его закон. Для мира, лежащего во зле, такие люди — лучшее оправдание и украшение. Но подчас они уже слишком резко расходятся с ним, слишком резко себя ему противопоставляют. [...] И когда условные законы времен, законы государств и народов восстают на этих людей, человечество становится свидетелем великой борьбы правды с самою собой. *Правда в своем законном, конкретном, объективно-историческом воплощении сталкивается с правдой в ее чистом, отвлеченном, абсолютном выражении.*

Люди, предвосхитившие последнее откровение правды и нашедшие в себе силу жить сообразно ему, [...] оплодотворяют мир, делая его богаче, ярче, углубленнее. Но побеждают его все-таки не они: их святость узка при всем ее величии, при всей ее необыкновенной красоте. *Они не чувствуют правды относительного, правды обусловленного, и глубоко грешат перед ней.* [...] *Побеждает мир идеализм конкретный, целостный, сочетающий в себе и стремление к безусловной правде, и сознание того, что эта правда лишь на небе живет.*

[20 ноября 1920 г.]

Следствие подходит к концу. Обвинительное заключение готово. Обвиняемый сам во всем признался.

Устрялову было в избытке отпущено дарований для того, чтобы "оплодотворять мир, делая его богаче, ярче, углубленнее". Более того, в нем оказалось достаточно моральной силы, чтобы "идти впереди своего века, жизнью своею нарушая его закон". Но ему и этого казалось мало. Мало писать нетленные произведения. Мало совершать духовные и телесные подвиги. Ему было недостаточно "правды в ее безусловном, абсолютном выражении". Он стремился "почувствовать правду относительного, правду обусловленного", познать "правду в своем конкретном, объективно-историческом воплощении", чтобы с ее помощью "победить мир".

Но позвольте, место занято! Там, куда стремился Устрялов со своей "конкретной правдой", уже воцарилось всепобеждающее учение и монополюльно владеющая им организация, призванная с его помощью победить мир.

Так "идеализм" Устрялова, будучи "конкретным", довел его до Лубянки.

В деле, среди множества нерешенных вопросов, остается один, который вряд ли заинтересует следователя Панкратова. Удалось ли Устрялову "победить мир"?

Размышления над ним выводят за рамки избранного жанра. До сих пор я стремился, по возможности, придерживаться доступных мне документов, ограничивая комментарии и лирические отступления необходимым минимумом. Но события, относящиеся к решающей схватке Устрялова с миром, не нашли адекватного документального отражения. Вниманию тех читателей, кто добрался до этого места и полон решимости самостоятельно продолжать "производство по вновь открывшимся обстоятельствам", могут быть предложены лишь некоторые разрозненные заметки, — побочный продукт перманентных раздумий над этим вопросом.

* * *

Итак, если судить Устрялова по законам, им созданным, получается: Толстой = "абстрактный идеалист"; Устрялов = "конкретный идеалист". Тогда с помощью несложных

алгебраических преобразований вопрос можно привести к иному, следующему виду: чем смерть Толстого отличалась от смерти Устрялова?

Звучит кощунственно. И ответа нет. Но сама формулировка помогает понять, с какими вопросами мы здесь имеем дело. И Кому они на самом деле адресованы.

* * *

Люди "града вышнего", проповедники и моралисты познают правду в ее абсолютном выражении — и предъявляют миру требование немедленно привести в соответствие с нею. Они, люди "абстрактного идеализма" отвечают своей жизнью на один-единственный вопрос: что должен делать Человек в соответствии с идеалом абсолютной Правды? Люди "конкретного идеализма" ищут ответа на иной, гораздо более сложный вопрос: в чем состоит правда в своем конкретном, объективно-историческом воплощении, обусловленном обстоятельствами данного времени и места, и что я, конкретный человек, должен сделать для торжества *этой* правды, *здесь* и *теперь*?

Нет, вы только вчитайтесь! Ведь Устрялов ополчается против тех, кого сам называет "подвижниками" и "святыми", заявляет, что "их святость узка при всем ее величии" (и на этом спасибо), что "они не чувствуют правды относительного... и *глубоко грешат* перед ней"!

Речь идет, ни много ни мало, о формулировании нового стандарта, нового понятия "святости". Устрялов поднимает планку так высоко, что прежнее подвижничество оказывается чуть ли не грехом. Да кто ему позволил? Кто он такой чтобы браться судить о столь высоких предметах?

Вот-вот. С этого и следовало начинать.

Кстати, Гегель в "Философии истории" напоминает: Бог не только дал *каждому* человеку возможность познавать Себя, но и возложил на нас *обязанность* делать это.

И тут же, не удержавшись на заявленной высоте "обличения", Устрялов с улыбкой нескрываемой любви спешит добавить:

Но для нас, русских, все же особенно близок, понятен Толстой даже и в великом ослеплении своем открывшимся ему солнцем. Именно для России бесконечно характерны этот суровый "максимализм", эта любовь к предельным ценностям, к безусловной, последней правде. "Все мы любим по краям и пропастям блуждать" — говорил Крижанич, наш первый славянофил.

Доблуждался.

* * *

Что может значить "победа над миром" с точки зрения толстовского идеализма безусловной Правды? Весь мир-то "во зле лежит"... Подвижники абстрактного, абсолютного идеала, то есть "люди, нашедшие в себе силы жить сообразно ему", должны, выходит, чудесным образом перевоспитать человечество личным примером и увлечь за собой. Это одна трактовка. Есть и другая: весь мир зла разрушить до основания, а затем...

"Победа над миром" в случае конкретного, устряловского идеализма выглядит куда скромнее. Это значит вот что: добавить еще одну, новую ступеньку конкретной, относительной правды в лестницу, ведущую к Правде абсолютной, ко всеобщему воскресению-воскрешению. Добавить, не только не сломав других ступеней, положенных прежними конкретными идеалистами, но опираясь на них. Работа артельная, требующая точного глазомера и умения твердо, не шатаясь, стоять на самой верхней ступени лестницы конкретной правды. При этом бесполезно хвататься за небо руками, но надо все время видеть его, чтобы не потерять ориентировку.

Любая аналогия не только разъясняет, но и вводит в заблуждение. Ступенька лестницы — *новая форма деятельности*. Всякий человек — изобретатель и носитель собственной формы, хоть в чем-то уникальной. Новые формы деятельности постоянно, как искры, загораются и гаснут со смертью людей. Конкретный идеалист (в отличие от абсолютного) — человек тоже смертный. От прочих смертных он отличается в двух отношениях.

Во-первых, познанием, откровением и/или творческой интуицией относительной Правды, умением создать и воплотить в своей жизни новую форму деятельности, имеющую шанс "отвердеть" в качестве очередной ступеньки этой Правды.

Во-вторых, способностью "родить", то есть отделить выношенную форму деятельности от себя, одухотворить, превратить во всеобщее достояние.

Так победил ли конкретный идеалист Устрялов и другие люди из его "поколения рубежа", выносившие форму *русской метакультуры*, свершилось ли таинство родов? Или же "происходящее постигла судьба всех подобных ему революционных потрясений" (Муравьев), верх взяла очередная российская кальдера?

Это мы еще посмотрим. Была ли смерть наших соотечественников у Бородина победой или поражением — выяснилось не в Филях.

* * *

Воскресить бы Устрялова — и спросить строго:

— Николай Васильевич! Вам удалось победить мир?

И почему-то кажется, что он ответил бы, как палочкой-выручалочкой, мудрым заклинанием из банальной, в общем-то, пастернаковской вещи:

**Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.**

Увы — тут ошибка, историческая aberrация. Не мог Устрялов знать этих строчек. Ведь они написаны через двадцать лет после того, как его убили.

* * *

В России не было и нет "партии России". Были партии кальдер, кратеров, левых и правых склонов и даже партии отдельных вулканических выбросов. "Партия России" бездомна, как Вечный жид. Вместо настоящей России — подавай нам личную, частную, уютную россию-которую-*мы*-потеряли (РКМП). "РКМП" — того же поля ягода, что и "РСФСР", "СНГ", "РФ" "ДР" и т.п.

* * *

Подлинная проблема Устрялова не в том, что он рвался в объятия к товарищу Ягоде. Устрялову понадобилось пятнадцать лет харбинских раздумий, чтобы понять, что значит для него "возвратиться в Россию". Он не мог жить вне России. Не столько той России-кальдеры, что имелась в наличии, сколько России подлинной, которую он носил в себе. Она была внутри него — а он хотел быть внутри нее. Ему оставалось одно: вывернуться наизнанку.

* * *

Люди нашей Кальдеры овладели искусством виртуозной, филигранной лжи. Понадобится подлинная революция в семантике, создание ее нового раздела, чтобы читать тексты на русском новоязе.

Вот, например, в статье "Устрялов" первого издания БСЭ есть невинная фраза: в 1935 году Устрялов *вместе со всеми работниками КВЖД* вернулся в СССР. Читай: задача выполнена, имущество, включая сотрудников и прочий инвентарь, согласно описи погрузили в теплушки, — и каплей льемса с массаи.

Пчела до заката должна вернуться в свой улей. Чужой ее просто не примет, у нее нет выбора. Тем более нелепой была бы для пчелы идея присоединиться к стаду антилоп. Но у Устрялова *был* выбор. И не просто выбор — вторая любовь. Он, как и Герцен, принадлежал к "европейскому классу"... И Герцен выбрал любовницу. А он — Жену. Но у той не оказалось прописки.

А Толстой — бежал. К кому?

* * *

из поселенцев видел в нем того, кого *не* желал видеть: рыночника и национал-патриота, демократа и фашиста...

Марсианин был разорван узами взаимоисключающей любви. Устрялов — раздавлен жерновами непримиримой ненависти.

* * *

"Я никогда не умел преодолевать межчеловеческое пространство. [...] Что случилось бы с нами, умей мы на самом деле сочувствовать другим, переживать то же, что они, страдать вместе с ними? То, что человеческие горести, страхи, страдания исчезают вместе со смертью организма, что не остается ни следа от падений и взлетов, наслаждений и пыток, — это достойный похвалы дар эволюции, которая тем самым уподобляет нас животным. Если б от каждого несчастного, замученного человека оставался хоть один атом его чувств, если бы таким образом росло наследие поколений, если б хоть искорка могла пробежать от человека к человеку, — мир переполнился бы криком, в муках исторгнутым из груди."¹¹

Что побудило студента Ч. вписать в дневник эти слова двадцать два года назад? Глубокое несогласие, и вместе — беспокойство: вдруг Лем все же окажется прав?

Дело в том, что по достижении совершеннолетия ему стали сниться странные сны... Добрых десять лет невидимый режиссер бесконечно варьировал два мелодраматических сюжета.

Сюжет первый: "Свое пространство — чужое время". Герой сна оказывается заброшенным неведомой силой в родной город лет за двадцать до собственного рождения. Некоторые места узнаваемы. Грязь, булыжная мостовая, бородатые мужики на телегах, плакат ОСОАВИАХИМа. Далеко отсюда, в разных концах страны недавно появились на свет его родители. Предстоит Вторая мировая война.

Сюжет второй: "Чужой облик". Герой оказывается перед неким лицом-ликом, в котором воплощено все, что он любит, чему придает смысл, — все вообще, что связывает его с жизнью. Герой устремляется к нему — и наталкивается на холодно-доброжелательный, отчужденный взгляд. Он не узнал! Что-то случилось с его телесной оболочкой...

Тоска и ужас от сновидений-пришельцев были непередаваемы. Ничто в благополучном жизненном опыте сновидца не могло послужить их источником. Никакое фрейдистское копание в картинах детства и юности, полных покоя, любви и понимания, не в силах было бы объяснить разверзающуюся бездну. В одном из частных писем того времени студент Ч. назвал эти сны "душевыми кровотечениями" и рискнул сравнить с физиологическим шоком, которое переживает девичий организм на пороге взросления.

Наверное, это и было первое откровение собственной "русскости".

Тела русских рассеяны по всему белу свету, а души их сгрудились в тесной камере трансперсональной Бутырки, где густо-густо надышали общих снов. Российское межчеловеческое пространство, на котором от могилы до могилы три суворовских перехода, пронизано и соткано бездомными снами, что видели тьмы и тьмы странников и изгнанников, инородцев и иноверцев, ссыльных и каторжных, возвращенцев и спецпереселенцев...

Устрялов — вещий сон России.

* * *

Человек, который принес посмотреть следственное дело Устрялова, заложил в него закладку, и сказал, что читать можно то, что до нее, а то, что после — нельзя. И как честный советский гражданин, привыкший делать "то, что положено", я прочел "от и до", а то, что после — не стал.

Тогда я думал, что дело в секретности. Теперь понимаю: просто меня пожалели.

Последними, кого Устрялов видел в этой жизни, были "следователи", "судьи" и те, кто приводил приговор в исполнение. Мы с ними одной кальдеры: они и я.

Чуть было не написал: последние, кто говорил с Устряловым...

Б.В. Раушенбах рассказывал мне: во время войны они с другом, тоже советским немцем, попали в тюрьму по пятому пункту, и следователь вел допрос друга, нацепив галстук,

¹¹ Станислав Лем, "Голос Неба", стр 583. В новейшем переводе роман называется уже "Глас Господа".

"конфискованный" у того в ходе обыска и ареста. Конечно, он не был банальным вором. Скорее всего, не стоит считать это сознательным приемом, использованным, чтобы "сломить психику" и т.п. — к чему такие сложности? Наверное, следователь не был ни извергом, ни извращенцем. Все проще: галстук смотрелся уж очень хорошо, а *враг народа*, как известно, не является одушевленным существом. И любые слова и действия следователя по отношению к нему лежали вне пространства человеческих отношений и нравственных оценок. Вне сферы языка. Вне жизни. Вне.

**Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез...**

Возвращенец, мать твою...

* * *

Под утро мой костер на берегу заветной волжской протоки начинает рассеивать темноту, и видно, как крупные рыбы выбрасываются из воды, зависают, беззвучно шевеля губами, и с коротким плеском идут ко дну...

Иногда кажется, что пережить такое не под силу существам с теплой кровью; что все мы, новые русские — холодные, немые рыбы, которых течение качает над могилами и руинами наших атлантид. А подлинная Россия ушла в надводное небо как недоступный нам воздушный Китеж.

Неистово хочешь вырваться наверх, прокричать самое-самое... И вот бросаешься в небо, как в омут, хватаешь полной грудью этот воздух, которым захлебнулись так многие — а выдыхается одно лишь рыдание.

* * *

О чем он думает ночами, — заложник, замурованный временем в желтом Харбине, как небесный муравей в янтаре? Дотянуться туда, сказать...

октябрь 1994 г. — февраль 1995 г.

**В день, когда эта работа была закончена,
умер Михаил Яковлевич Гефтер.**